

## АНТИНОМИЯ ЯЗЫКА\*

I. И наука, и философия — описание действительности, т. е. язык, тут и там имеющий свой особый закал. Словесная природа, как науки, так и философии — это их о б щ е е, родовая стихия их жизни. Но они противоположны и противоречивы в своих устремлениях. Несокрушимым кристаллом хотела бы отвердеть наука; огненным вихрем, ветром выходящимся, коловращением, упругим как гиростаты, — явит свою определенность философия. Незыблительности и окончательности противопоставит пульсирование и рост. Охранительная и старческая, в существе своем, наука соперничает с юной и безоглядно зыждущей силой философии. Наука приспособляет к себе, философия — приспособляется. Та субъективна, эта объективна. Ту, вопреки заверениям ее адвокатов, занимают лишь е ю построенные схемы и фикции; эта, как росток, тянется к свету и воздуху Божиего мира. Та — искусственна и в искусности своих имитаций жизни, в своих фарфоровых цветах, железных венках, цементных скалах, анилиновых красках и государственных конституциях, в условной, но выгодной, посадке всей мысли видит обетованную землю своих странствований; эта, напротив, об одном старается: о чистом оке, мир созерцающем.

II. Такова противоположность того и другого уклона словесной деятельности. Но это — именно уклоны, направления деятельностей, но еще не самые деятельности. И философ, вопреки подвигу мысли, умеет в себе затверделости, заученные схемы и фикции, повредившие его мысль, и в уме заросшие, инородные тела. И в философе мысль не всегда и не всецело течет расплавленной струей, но часто, даже у возвышеннейших, увлекает за собою куски шлаков и части остывшей коры. И его ум связывается порою пристрастиями к бэконовским *idola*. Исторически являемая, философия имеет немало частей и элементов науки или, еще хуже, наукообразных включений, имеет их неустранимо, не по несчастной только случайности, как поток не может не увлекать своими волнами береговых обвалов и не нести кусков каменистого своего ложа, но — и по необходимости внутренней: держаться за твердые ограды и не выпускать из рук опоры, покуда не приобретена еще способность блюсти подвижное равновесие ритмом разносторонних склонений. Вот почему философы не всегда умеют и не всегда хотят освободиться от понятий и приемов современной им науки.

И оказывается: когда воздушная перспектива истории достаточно сгладит пестроту и резкость философских трудов, даже величайших, то глазу исследователя не останется незамеченной, среди волнующихся линий вечно живущей их диалектики, гриммировка научности, бывшая некогда под цвет современной ей науки и потому не резавшая взгляда, но ныне, с новым видом самой науки, кричащая о себе, о своей, — теперь уже мнимой! — научности: так одежда, когда-то скроенная по последней моде, — среди подобных ей, мало заметна, но, извлеченная из сундука через пятнадцать-двадцать лет, вопиет о своей притязательности. Так иной философ, не юный душею, а лишь молодящийся, вынужден прибег-

\* Статья П. А. Флоренского «Антиномия языка» печатается по тексту «Studia Slavica Hung.» Т. 32, № 1—4. 1986. Текст подготовлен Н. К. Боненцкой, В. Н. Никитиным, А. С. Трубачевым, М. С. Трубачевой и К. П. Флоренским (†9 апреля 1982 г.); комментарий Н. К. Боненцкой. Журнал «Вопросы языкознания» печатает полный текст статьи П. А. Флоренского, с некоторыми сокращениями в комментариях.

нуть к вставным зубам и парикю. Но всезоркое время, — увы! — обличит его подделку.

III. И философ имеет нечто условное и мертвенное! Напротив, в груди ученого все-таки бьется живое сердце. Никто, к чести человечества, не думает по науке для себя, в тиши благодарного созерцания Божьего мира; никто не бывает научен в кругу любимой семьи и дорогих друзей. Истинночеловечное есть и в науке.

Незаметно для творцов ее, переливается оно и в научные схемы их трудов. К счастью и чести человечества, научные произведения далеко не столь научны и потому не столь нечеловечны и безличны, как о них свойственно думать широкой публике их современности. За свежей штукатуркой и лоснящейся краской самоновейших научных схем, все-таки стоит воплощение человеческих замыслов. Трагический злодей театральных подмостков в душе все же добрый малый. Налетает едкое время, и штукатурка отваливается, и чистые линии человечности выступают взору. Те, кто вглядывался в устаревшие научные трактаты, знают радость этого откровения лица — за безличными схемами, которыми сочинитель думал скрыть себя от общества. Так в *mixtum compositum* горделивой, условной манеры и родника творческих вдохновений, именуемом научным трудом, торжествует робкая Золушка, ее же надменной сестре воздается должное.

IV. Повторяю: противоположность науки и философии была намечена их устремлениями, уклонами, по которым движутся обе они. Но наличная действительность как той, так и другой, может быть и далекою от поставленных ими себе задач. Наука, жесткая и непреклонная по замыслу своему, на деле, в историческом своем раскрытии, имеет текучесть и мягкость. Философия же, подвижно-стремительная и гибкая, — такую хочет быть, — не чужда жесткой и догматической хватки. Есть и нечто диалектическое в науке, хотя она не диалектична по своему уклону, как есть нечто систематическое в философии, вопреки ее вражде духу системы. Философия и наука глубоко различны по направлению своей воли, но в своих осуществлениях они разнятся лишь мерою явленности каждого из обоих направлений. Как же вникнуть в самые уклоны той и другой? Чтобы понять уклоны их, надлежит рассмотреть не исторические наличности их, а пределы того и другого устремлений.

Как наука так и философия, будучи м о д у с а м и я з ы к а, будучи своеобразными полярно-устремляющимися случаями употребления языка, несмотря на свою противоположность друг другу, все же суть, в существе своем, — одно, я з ы к. А если так, то, значит, несовместимое противоречие их уклонов лежит не на д поверхности языка, но продолжается и коренится в самом языке. Их расхождение есть противоречивость тенденции самого языка; наблюдая язык, как таковой, даже в его простейших случаях, мы можем усмотреть ту же антиномию, — или, точнее, то же гнездо антиномий, содержащихся в основном противоречивом сопряжении в языке, — антиномии вещиности его и деятельности, ἔργον и ἐνέργεια. Вдумываться в эту пару — значит идти к углублению сказанного нами о противоречивости науки и философии.

V. Антиномия языка или, скорее, созвездие этих антиномий, путеводит языкознание не со вчерашнего дня: уже платоновским «Кратилом» один из побегов ее, именно противоречивое сопряжение понятий п р и р о д ы и к у л ь т у р ы в вопросе о начале языка, установлено было с полвою ясностью. Корень же в с е х отраслей, именно взаимная необходимость, при взаимной же исключаемости, понятий ἔργον и ἐνέργεια

открыт Вильгельмом фон Гумбольдтом, братом более известного всенародно — Александра; вслед за Гумбольдтом тот же вопрос разрабатывался Штейнталем, а в русской науке обсуждался А. А. Потебнёю и всюю его школою. В недавнее время Виктор Анри посвятил тому же и смежным предметам особый трактат<sup>1</sup>.

Существо антиномии по Гумбольдту: в языке все живет, все течет, все движется; действительно в языке — только мгновенное возникновение, мгновенное действие духа, отдельный акт в его особливости, притом именно в его наличном осуществлении. Поэтому, человек — творец языка, божественно свободен в своем языковом творчестве, всецело определяемом его духовною жизнью, и з н у т р и. Поэтому, язык есть достояние народа, а не отдельного лица. Таков тезис, или соцветие тезисов гумбольдтовой антиномии. Напротив, антитезис, или соцветие антитезисов, гласит о м о н у м е н т а л ь н о м характере языка. Слова и правила их сочетания отдельному лицу даются историей, как нечто готовое и непреложное. Языком мы можем пользоваться, но отнюдь мы — не творцы его. Пользуясь же языком, — достоянием народа, а не отдельного лица, — мы тем самым подчиняемся н е о б х о д и м о с т и — оказываемся ничтожною песчинкою в составе народном. Таково суммарное изложение антиномии Гумбольдта. Штейнталь и А. А. Потебня расчлениют ее же более систематически на частные антиномии; таковы:

1. антиномия объективности и субъективности слова;
2. антиномия речи и понимания;
3. антиномия свободы и необходимости;
4. антиномия индивидуума и народа<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В черновых материалах работы имеются следующие выписки П. Флоренского с указанием источников и литературы вопроса:

*H. Steinthal.* Die Sprachwissenschaft Wilh. v. Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie. Berlin, 1848;

*P. Гайм.* Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. Перевод с немецкого. Издание К. Т. Солдатенкова. М. 1898. XIII + 529 + VIII + 166 стр. (Последние 166 страниц заняты приложенным переводом сочинения самого В. Ф. Гумбольдта «О границах деятельности государства»).

*П. Житецкий.* В. Гумбольдт в истории философского языкознания. — Вopr[осы] ф[илософии] и псих[ологии], 1900 г., кн. 51, стр. 1—30.

*Вильгельм фон Гумбольдт.* О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание. Перевод П. Билярского. СПб., 1859. (Первоначально в Ж[урнале] М[инистерства] Н[ародного] П[росвещения] за 1858 и 1859 гг.).

*А. Ветухов.* А. А. Потебня († 29 ноября 1891 г.) Варшава, 1898 (из «Рус [кого] фил[ологического] вестн[ика]»). Тут же, на стр. 47—59 библиография Потебни и о нем. [А. Ветухов]. Философские вопросы при свете языка. Заметка о III-м томе «Из записок по русской грамматике» Потебни (из «Рус[ского] фил[ологического] вестн[ика]»). Варшава, 1899.

[А. Ветухов]. Язык, поэзия и наука. Харьков, 1894.

*И. Белоруссов.* Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни. Орел, 1901. 258 + XIV стр. Конспективное, постраничное изложение «Из записок по русской грамматике» и др. соприкосновенных работ Потебни. Работа, исполненная с огромным вниманием и отчетливостью, для изучающего работы Потебни и в особенности для желающего ознакомиться с их содержанием — незаменима.

*Андрей Белый.* Мысль и язык. (Философия языка А. А. Потебни). — «Логос», книга 2-я, М. 1910. Книгоиздательство «Мусагет», стр. 240—258.

*Victor Henry.* Antinomies linguistiques. Paris, 1896. F. Alcan. (Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Paris, II).

Об антиномизме языке см. также в работе П. Флоренского «Столи и утверждение Истин». М. 1914, с. 147, 686 (библиография).

<sup>2</sup> Извлечение частных антиномий из антиномического по своей сути представления о языке В. Гумбольдта предпринято А. А. Потебней в разделе III трактата «Мысль и язык». В примечании автор говорит, что, излагая антиномии Гумбольдта, он следует Штейнталю.

В новейшей разработке В. А н р и антиномии языка могут быть представлены такою табличкою:

### Тезис

### Антитезис

#### I. Природа языка

«Категория речи, категория языка и наречия, даже категории простого слова, раз только их рассматривают вблизи, суть одни абстракции, не имеющие внешней реальности» [1, с. 3] \*.

Язык есть  $\dot{\epsilon}\nu\epsilon\rho\upsilon\tau\iota\alpha$ .

«Есть наука о речи, которая ставит себе предметом изучения явления жизни речи, т. е. жизни языков и жизни слов» [1, с. 3].

Язык есть  $\dot{\epsilon}\rho\chi\omicron\nu$ .

#### II. Происхождение языка

«Здравый смысл сам по себе, и при отсутствии какого бы то ни было доказывающего документа, показывает, что язык, как и всякая вещь на свете, должен был иметь начало, а интерес, который связывается с этой высокой оценкой человечества, был всегда могущественным побудителем отыскать его начало» [1, с. 25].

Язык существует  $\theta\acute{\epsilon}\sigma\alpha\iota$ .

«Начало языка есть проблема не только недоступная языкознанию, но и такая, что все документы, которыми хвалится языкознание или скажет в будущем, не могли бы никогда дать ему провидеть даже наиболее отдаленное ее решение» [1, с. 25].

Язык существует  $\phi\acute{\iota}\sigma\alpha\iota$ .

#### III. Мысль и язык

«Из соображений о развитии человеческой речи вообще и о развитии речи цивилизованного ребенка в частности, следует с очевидностью, что наличная речь уже давно перестала быть инстинктивным переводом душевного состояния и что она никогда не сможет стать сознательным воспроизведением нашей внутренней интеллектуальной жизни: — а это сводится к тому, что речь никогда не адекватна своему предмету» [1, с. 47].

Слов меньше, чем мыслей.

«Речь всюду слывет за некоторое выражение мысли; на деле, для человека она есть единственно возможный способ сообщать свою мысль и, если бы вопросить сознание обыкновенных говорящих субъектов [т. е. не философов, анализирующих язык. — П. Ф.], то не нашлось бы ни одного, который бы не верил, что говорит в точности то, что он думает, или, что он думает, то, что говорит» [1, с. 47].

Слов более, чем мыслей.

VI. Такова новейшая формулировка антиномий языка. Но более развитое изложение их мы предпочитаем дать все же непосредственно по Вильгельму фон Гумбольдту, а не руководясь последующими за ним исследователями тех же вопросов. За исключением, разве, одного только Макса Мюллера, они отступают от философско-познавательной критики языка и вступают на путь психологизма, т. е. стирают отчетливость существования вопросов. Ни один образованный человек не должен отговариваться незнанием воззрений Гумбольдта. Поэтому я изложу вам \* занимающий нас вопрос по возможности собственными словами этого острого и проникновенного мыслителя, пользуясь при этом итогом целожизненных его размышлений, — сосредоточенном в книге под заглавием «О различии

\* В скобках первая цифра соответствует номеру источника в списке литературы, затем идет номер страницы в источнике.

\* Основу труда «У водоразделов мысли» составляли лекции П. А. Флоренского 1916—1917 гг. Подготавливая книгу, он сохранял форму обращения к аудитории.

организмов человеческого языка», изданный уже по смерти его автора Александром фон Гумбольдтом.

«Язык, как он есть в действительности, представляется непрерывнотекущим и преходящим с каждою минутой. Письменность делает его, по видимому, неподвижным, но, передавая его неполно, сберегая в виде мумии, она всегда предполагает воспроизведение его живым голосом. Сам же по себе, язык есть деятельность (*ἐνέργεια*), а не оконченное дело (*ἔργον*). Истинное определение его должно выражать акт его происхождения (генезис). Язык есть беспрестанное повторение действия духа на членораздельный звук для претворения его в выражение мысли. В строгом и ближайшем смысле, это определение идет к каждому акту живой речи в повседневном употреблении языка; но в сущности и в истинном смысле, под языком можно также разуметь только как-бы совокупность всего, что говорится. Что же обыкновенно называют языком, то в массе слов и правил, как представляют их словарь и грамматика, содержатся только отдельные стихи и, производимые живою речью, и то всегда неполные по количеству и всегда требующие нового труда, чтобы узнать свойства происходящей из них речи и составить верное представление о живом языке. По разрозненным элементам нельзя узнать того, что есть высшего и тончайшего в языке; это делается понятным или ощутительным только в составе речи, — новое доказательство, что существо языка состоит в самом акте его воспроизведения. Живая речь есть первое и истинное состояние языка: этого никак не должно забывать при исследовании языков, если хотим войти в живое существо языка. Раздробление же на слова и правила есть мертвый продукт механической работы ученого анализа, а не естественное состояние языка.

Назвать язык деятельностью духа уместно и справедливо уже потому, что дух человеческий мы знаем только из его деятельности и можем представлять себе только в виде деятельности» [2, с. 40]. «Для языка нигде нет места покоя, не исключая и письменности; его мертвая, по-видимому, часть всегда возрождается к жизни мышлением людей, оживает в речи говорящего или в понятии слушающего: одним словом, так или иначе, всегда переходит в субъективную деятельность» [2, с. 60]. Всякий язык раскрывается во всей полноте своей истинной особенности только в живом употреблении, в речи говорящего лица. Только в устах отдельного лица слова получают окончательную определенность. А здесь, в живой речи, никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле, и мелкие оттенки значений переливаются по всему пространству языка, как круги на воде при падении камня. Поэтому, всякое разумение между разговаривающими в то же время есть и недоразумение, и согласие в мыслях и чувствах в то же время и разногласие» [2, с. 62].

«Язык есть орудие образования мысли. Умественная деятельность, сама по себе совершенно духовная и внутренняя, не оставляющая по себе никакого явного следа, посредством слова переходит во внешность и делается доступною чувствам» [2, с. 28]. Основую речи и материальным орудием дара слова является членораздельный звук: человек вынуждает его «у своих органов с и л о ю [своей. — П. Ф.] души» [2, с. 63]. Но суть дела не в звуке, а в его артикулированности, т. е. расчлененности: дело не в физическом явлении, а «в акте его образования» [2, с. 64], т. е. в «совершаемом с определенной целью действию души на органы произношения» [2, с. 64].

«Основание артикуляции звуков составляет власть духа над органами и произношения: свою силу он заставляет их выраба-

тывать звук, соответственно форме своей собственной деятельности» [2, с. 65]. Но «материал языка нельзя представлять [себе — П. Ф.] один раз навсегда готовою массой. Не говоря о постоянном образовании новых слов и форм, весь запас в языке, покуда он живет в устах народа, непрерывно производится и воспроизводится собственною силою говорящих. Он воспроизводится, во-первых, целым народом, которому язык обязан своею формой, потом — в развитии дара слова у детей, и, наконец, в ежедневном употреблении между людьми. Переменная готовность слов по мере надобности в каждую минуту никак не может быть делом одной памяти. Никакая память не могла бы удовлетворить непрерывным и разнообразным требованиям мысли для ее выражения, если бы говорящий не имел ключа к образованию слов в своем инстинктивном чувстве. Даже чужим языком нам всегда удается овладеть не иначе, как посредством усвоения тайны его образования, мы овладеваем ею мало-помалу, только посредством упражнения, но все же потому, что в изучаемом языке есть или генетическое сродство с собственным нашим языком, или хотя общечеловеческое сходство в основании. Условия изучения мертвых языков почти те же. Правда, их материал для нас уже оконченное, замкнутое целое, в отдаленной глубине которого только при особенном счастье удается исследованию делать открытия. Но и мертвые языки изучаются не иначе, как посредством усвоения некогда жившего в них начала: их изучение, хотя на минуту, но действительно вызывает их к жизни, потому что язык нельзя изучать, как высушенное растение. Язык и жизнь — неразлучные понятия, и изучение языка всегда есть его возрождение» [2, с. 105]. Итак, язык — «свежее, животрепещущее создание духа» [2, с. 182]. «Так как язык, как уже не раз было замечено выше, всегда имеет только и делание бытие, в умах и душах людей, и никогда не превращается в мертвое вещество, хотя бы нашел себе могилу в камне или металле; так как и сила мертвого языка, сколько она еще может быть нами ощущаема, по большей части зависит от собственной нашей силы оживлять его своим духом: то в языке точно так же, как в неугасимо-теплющемся светильнике мышления, не может быть минуты истинного застоя. Непрерывное развитие под влиянием умственной силы каждого говорящего составляет его природу» [2, с. 176]. «Ясно само собою, что язык, наиболее соответствующий духу и живее возбуждающий его деятельность своим строением, наиболее должен сохранить силу из себя самого производить все новые образования, которые ведет за собою течение времени и судьба народа [...]. Язык, как в отдельном слове, так и в связной речи, есть акт, истинно творческий действие духа; а в каждом языке этот акт есть действие индивидуальное, совершаемое со всех сторон определенным образом» [2, с. 235]. Итак, язык «может принадлежать только существу, одаренному самосознанием и свободой, и происходит в нем из глубины его индивидуальности, для него самой (неисследимой, и из деятельности дарованных ему сил. Оно вполне зависит от энергии и от формы того толчка, которым человек, без участия своего самосознания, дает движение всей своей духовной индивидуальности [...]. От этой связи индивидуальной действительностью [...] это развитие подчиняется вместе условиям, окружающим человека в мире и даже оказывающим свое влияние на акт его свободы» [2, с. 278]. «Полное значение слово получает только в составе речи» [2, с. 192], и только по оттенкам слов, понятым из состава речи, можно понять народное мирозерцание,

выражающее в языке духовный склад народа и национальный характер. «Только при строгом разборе, но зато определенно и ясно, характер ска- зывается в различном м и р о с о з е р ц а н и и и народов, как оно выражается о т г л а н к а м и з н а ч е н и я с л о в. Выше [...] я объяснял, что едва ли хотя одно слово разными лицами представляется одинаково; разве только оно употребляется в известную минуту в виде вещественного знака своего понятия. Поэтому можно прямо утверждать, что в каждом слове есть что-то невыразимое самими звуками и что слова разных языков, означающие, в целом, одни и те же понятия, все-таки не настоящие сино- нимы. Этих оттенков, судя строго и точно, нельзя уловить посредством логического определения, и часто можно только как бы указывать место, занимаемое ими в области, к которой они принадлежат [...]. Настоящее же место для разнообразия оттенков значения собственно в именах у м с т- в е н н ы х п о н я т и й. Здесь в одном языке слово редко выражает то же самое, что в другом, без того, чтобы не было между ними ясного различия. В языках грубых и необразованных народов, мы встречаем, по-видимому, противное, потому что не понимаем тонких оттенков значения слов. Но тщательное вникание в другие, высоко-образованные языки предостере- гает от этого опрометчивого заключения, и сравнение однородных выраже- ний, синонимика нескольких языков, как есть синонимика одного языка, может повести к значительным результатам. При сильном умственном движении, эти различия значений, если разыскивать их до тончайших оттенков, как бы текут в языке непрерывным потоком. Каждый век, каж- дый самостоятельный писатель невольно прибавляет или переиначивает что-нибудь, потому что не может не коснуться языка своею индивидуаль- ностью, а она требует от него иного, своеобразного выражения» [2, с. 241].

Итак, в языке все живет, все течет, все движется. Действительно — только мгновенное возникновение, мгновенное действие духа в его особен- ности. Таков т е з и с Вильгельма фон Гумбольдта или иначе выраженный, в новейшей разработке Виктора А н р и, он гласит: «Категория речи, ка- тегория языка и наречия, даже категория простого слова, раз только их рассматривают вблизи, суть одни абстракции, не имеющие внешней реал- ьности» [1, с. 3].

Но этому тезису противостоит а н т и т е з и с. Выраженный вышеу- помянутым В. А н р и, он гласит: «Есть наука о речи, которая ставит себе предметом изучения явления жизни речи, т. е. жизни языков и жиз- ни слов» [1, с. 3].

Иначе говоря, слова и правила их соединения отнюдь не абстракции от деятельности нашего духа, но напротив, — реальности, стоящие перед ним, его обуславливающие. Поэтому-то и возможна лингвистика, наука о речи. Если в доказательстве тезиса настойчиво утверждалось: «ἐνέρυσια, а не ἔρυον», то теперь приходит черед противо-утверждению: «нет, именно ἔρυον, а не ἐνέρυσια». Мы опять приведем ряд мест из труда В. Г у м- б о л ь д т а, но заранее отметим, что на своем антитезисе ему нечего было особенно настаивать, ибо антитезис-то и составлял, в своей односторон- ности, предмет борьбы и твердый догмат всего XVIII века, как среди бог- гословствующих языковедов, видевших в языке готовый дар Божий, так и среди философов-вольгодумцев, объясняющих язык теорией наро- читого изобретения. Заслугой Гумбольдта было открытие тезиса об языке, как ἐνέρυσια, а не утверждение антитезиса об языке как ἔρυον.

Язык «всеми своими корнями и тончайшими их фибрами [...] сплетен с национальным духом» [2, с. 4], он — «произведение национального духа» [2, с. 4] и «глубоко входит в умственное развитие человечества» [2, с. 6],

так что «в языке можно узнать всякое состояние умственного развития народа» [2, с. 6]; мало того: «Первоначально язык исходит из такой глубины человеческой природы, что его нельзя назвать произведением или творением самого народа: он видимо обнаруживает в себе самостоятельную силу [...]. С этой точки зрения, язык не есть произведение деятельности, а невольное изливание духа; не дело народа, а дар, назначенный ему в удел его судьбою. Народ употребляет язык, не зная, как он образовался» [2, с. 7]. Круг первобытных форм языка «кажется, теперь уже замкнут, и, судя по нынешнему состоянию развития сил человека, не может вновь открыться [...]. Язык [...] имеет [...] самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над ним своею силою» [2, с. 12].

«В какой мере язык благоприятствует или ставит затруднения ясности и правильной связи понятий? В какой мере удерживает чувственную наглядность в представлениях мирозерцания? Как действует своим благозвучием на ум и чувство, то успокаивая их подобно гармонии, то возбуждая их энергию? Вот в чем состоят истинные преимущества языков друг перед другом, — в степени их способности давать то или другое настроение всему мышлению, всей умственной деятельности человека. А способность эта зависит от свойства первоначального устройства языков, от известного рода их органического построения, от их индивидуальной формы» [2, с. 21]. Язык может совершенствоваться, делаться более ясным, более наглядным, более благозвучным. «Но все эти успехи дальнейшего образования языка достигаются только в тех границах, какие положены его первоначальным устройством. Народ может сделать свой несовершенный язык органом такого рода идей, к каким он не мог бы повести своим природным устройством; но чрез это не уничтожаются внутренние ограничения, положенные умственному развитию в его первоначальном устройстве: они останутся препятствием высшему образованию и самого языка. Даже заимствованное у других с течением времени, язык, усваивая себе, видоизменяет сообразно с своею собственною формой» [2, с. 21], — «так как языки [...] из века в век переходят по преданию [...], то отношение настоящего к прошедшему имеет всю свою силу в их образовании. Отдельное лицо всегда зависит от своего целого: от народа, от племени, к которому принадлежит народ, от целого человечества. Его жизнь, с какой стороны ни возьмем ее, связана с обществом [...]. Умственное развитие отдельного лица, даже при самом глубоком затворничестве его в душе своей, возможно только посредством языка, а язык требует другого лица, которое понимало бы его» [2, с. 29]. «Так как форма языков всегда непременно национальна, то непосредственными деятелями в создании их бывают, очевидно, сами народы» [2, с. 32]. Однако, «из опыта мы ничего не знаем об этом творении языков: в истории нет даже ничего подобного, чтобы судить об этом по аналогии. Если мы говорим о „языках первобытных“, то они первобытны для нас потому только, что мы не знаем их составных частей, более древних» [2, с. 32]. «Языки возникают при одних и тех же условиях с проявлением силы человеческого духа и в то же время делаются для него вдохновительным началом [...]. Язык и национальный дух возникают не порознь, не один из другого, не один после другого, но оба составляют совершенно одну и ту же, нераздельную деятельность умственной силы народа [...]. Мы различаем интеллектуальность и язык, но в действительности этого различия не существует. Мы справедливо представляем себе язык чем-то выше человека и не можем признать его делом человеческим наравне с другими произведениями ума;

но мы увидели бы, вероятно, иное, если бы сила человеческого духа была нам доступна не в одних только явлениях своих, а в самом существе, в первоначальном источнике человеческих индивидуальностей, на которые указывает уже и язык, так как он выше отдельных лиц» [2, с. 36—37]. «Язык представляет бесчисленное множество частных: эта бездна слов, правил, аналогий, исключений, как ни сортируй их, все кажется каким-то хаосом. Смотри на эту пестроту, недоумеваешь, как приравнять ее к простоте идеи человеческого духа [2, с. 39]. Но отыскав общий источник этих частных, можно «соединить разрозненные части в один образ, в органическое целое» [2, с. 39]. Чтобы сопоставлять языки между собою, надо всматриваться в их форму и «уяснить себе способ, посредством которого каждый язык решает главные вопросы, составляющие задачу при образовании всякого языка вообще» [2, с. 40]. Иными словами, возникает понятие о форме языка. Что же такое форма языка? — «Постоянное и однообразное в [...] деятельности духа, претворяющей органический звук в выражение мысли, быв понято в полной совокупности и представлено систематически, составит то, что мы называем формой языка [...]. Ее, очевидно, нельзя считать за отвлеченность, искусственно производимую наукой. Вообще, было бы весьма ошибочно — представлять ее каким-то идеальным существом вне действительности. Форма языка есть живое, индивидуальное расположение народа действовать в образовании языка так или иначе своим умом и чувством. Но нам эта деятельность доступна не в непрерывной целостности внутреннего стремления, а только в отдельных ее действиях, и нашей любознательности не остается ничего другого, как только замечать одинаковые черты в этих действиях и совокуплять их в мертвое общее понятие. Поэтому наши наблюдения дробны, наше знание отвлеченно: это неизбежно; но сама в себе форма языка есть живая и во всех подробностях одна и та же деятельность силы народного духа. [...] Общее впечатление, как нельзя более ясно и убедительно дает чувствовать известные свойства языка, а между тем чувства этого никак не удастся уловить отчетливую мыслью и изложить удовлетворительно. [...] Индивидуальность резко кидается в глаза и ощутительно дает узнать себя чувству. Языки в этом отношении точь-в-точь, что физиономии: сравнивая их между собою, живо чувствуешь особенности и ясно видишь сходства; а между тем чувства этого не подведешь ни под какой масштаб, и никакое описание подробностей, ни поодиночке, ни в совокупности, не даст удовлетворительного понятия об индивидуальной особенности той или другой физиономии. Индивидуальность физиономии состоит в совокупности всех черт; но совокупность эта понимается только чувством и, вследствие того, понятие об ней зависит от индивидуального взгляда: одна и та же физиономия одному представляется так, другому иначе. Язык, как изливание народно-индивидуальной жизни, поражает и ясностью общего впечатления на чувство и неуловимостью этого впечатления для рассудка» [2, с. 42—43]. Эта индивидуальность языка и есть его форма. Но под форму не должно разуметь только так называемую грамматическую форму; понятие о форме языка простирается далее правил словосочинения и словопроизводства, т. е. грамматики и словаря, ибо к области формы прямо принадлежит образование самых коренных слов. «Форма языка, по самому понятию своему, есть одинаковое воззрение на отдельные элементы, составляющие, в противоположность ей, материю» [2, с. 45], под каковою Гумбольдт понимает «звук вообще» [2, с. 44] и «совокупность чувственных впечатлений и невольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается уже

с помощью слова» [2, с. 44—45]. «Такая одинаковость воззрения есть в каждом языке, и каждый народ усвоит себе язык своих предков посредством этого воззрения» [2, с. 45]. Язык, по самой природе своей, есть средство объективировать субъективный наш мир. «Представление, претворенное в слово, делается собственностью многих. Переходя к другим, оно входит в состав общего умственного достояния человечества, которое каждому отдельному лицу принадлежит в целом объеме...» [2, с. 51]. В акте говорения «язык переносит из природы в душу человека не одни р а з р о з н е н н ы е э л е м е н т ы, а вместе и то, что представляется в ней нашему взору связывающею их ф о р м о ю» [2, с. 58]. Так устанавливается смысл объективной стороны языка.

«Язык, как масса всего, произведенного живую речью, не одно и то же, что самая речь эта в устах народа [...]. Язык в целом объеме своем содержит в себе все, что претворено им в звуки. Но как материал мышления и возможность его разнообразных сочетаний никогда нельзя истощить совершенно, так беспредельно и содержание языка, как представителя предметов мышления и их взаимной связи. Язык вместе с сформированными элементами, в них же самих представляет разные способы продолжать работу ума по данным образцам и указанному направлению. Сформировавшиеся элементы составляют некоторым образом мертвую массу, но в то же время содержат в себе живой зародыш нескончаемых формаций. На каждом пункте и в каждую эпоху язык, как сама природа, является человеку, в противоположность известному и передуманному им, неистощимым рудником, из которого он может извлекать до сих пор неизведанное его умом и неиспытанное чувством» [2, с. 58—59]. За пределами постигаемого беспрестанно открывается человеку «взгляд на бесконечную перспективу массы, пока еще темной, но способной принимать все более и более определенные очертания. Такую неизведанную глубину язык представляет в себе с двух сторон, потому что и в предыдущем своем течении он исходит из неизвестного нам богатства, которое доступно нашему познанию только до известного градуса широты, а потом мало-помалу совершенно исчезает из виду, оставляя в нас только чувство своей неисследимости» [2, с. 59]. В языке «угадываешь, как к современности примыкает самая глубокая даль прошедшего, потому что язык прошел чрез чувство прежних поколений и хранит в себе их дыхание: эти прежние поколения связаны с нами в родовой и семейный союз употреблением тех же самых звуков языка, которыми и мы выражаем свои чувства [...]. В языке накапливается запас слов и правил, которые дают ему самостоятельную силу, действующую в продолжение тысячелетий. Выше мы объяснили, что, мысль, переходя в слово, делается объектом мыслящего ума и как бы извне на него действует. Но в то же время мы заметили, что объект этот образуется преимущественно из самого субъекта и действие исходит из того же, на кого оно обращено. Теперь нам предстает противоположный взгляд, в котором язык является действительно посторонним для субъекта предметом, и его действие получает свое начало вне того круга, на который обращено [...]. Язык непременно предполагает двоих, а в действительности принадлежит всему человечеству. Уже и в письменности он хранит в себе дремлющую мысль, которую наш ум только воспроизводит при чтении: так и вообще язык имеет самостоятельное бытие, и хотя действительную жизнь получает только в употреблении между людьми, но в то же время, в существе своем, он не зависит от отдельных лиц. Эти два взгляда, в которых язык представляется и чуждым душе человека и принадлежащим ей, зависящим и независящим от нее, действительно в нем совмещаются и составляют особенность существа

его. Нельзя и не должно избегать этого противоречия, представляя себе язык в некоторых частях чуждым душе и независимым от нее, а в других — полною ее собственностью» [2, с. 59]. «Соображая, как язык действует на каждое п о к о л е н и е всем, что испытал он в предыдущие века, и как против этой массы вековых приобретений на сцене истории является сила только одного поколения, и то не исключительно она одна, потому что с каждым новым поколением доживают свой век старшие, — соображая все это, не трудно понять, как незначительна должна быть сила о т д е л ь н о г о л и ц а в сравнении с собственным могуществом языка. Язык дает живо чувствовать каждому человеку, что он не более, как частица целого человечества» [2, с. 61]. «Язык, как видно из самого существа его, ощущается душою во в с е м его о б ъ е м е: каждая частность, взятая отдельно, соответствует в нем другой, хотя бы она еще не была ясно сознана, и всему целому, происходящему или, лучше сказать, имеющему произойти из общей суммы явлений языка и господствующих в них законов» [2, с. 82]. «Гений языка должен обладать прозорливостью, простирающуюся далее отдельных звуков: при образовании их он должен инстинктивно предчувствовать всю систему звуков, какая понадобится языку для его индивидуальной формы [...]. Язык можно сравнить с широкою тканью, в которой каждая нить более или менее заметно переплетена со всеми другими. Пользуясь языком в каком бы то ни было отношении, человек всегда касается только одной части этой великой ткани, но всегда поступает при этом так, как будто бы в ту же минуту он имел перед глазами все, с чем часть эта состоит в неизбежной связи и во внутренней гармонии» [2, с. 69]. Другими словами, язык предстает духу, как целое, уже готовое, сразу обзрешимое, хотя, в то же время он — только по-мгновенно творится духом и существует лишь постольку и лишь тогда, поскольку и когда творится. Он есть, говоря сравнительно, «кристалл», готовое орудие, которым народному духу предстоит пользоваться и в котором предстоит ему воплотиться.

VII. Таково противоречивое устройство языка, слагающегося из антиномий. Но язык — живое равновесие  $\epsilon\rho\upsilon\sigma$  и  $\epsilon\nu\epsilon\rho\upsilon\tau\iota\sigma$ , «вещи» и «жизни». Точнее сказать, именно противоречивостью этою, в ее предельной остроте, и возможен язык — вечный, незбывлемый, объективный Разум, пречеловеческий  $\lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$  и он же — бесконечно близкий душе каждого, ласково-гибкий в своем приноровлении к каждому отдельному сердцу, всегда индивидуальный, в каждый миг свой, в каждом своем движении — индивидуальность выражающий — поскольку есть что выразить.

Язык — важный и монументальный — огромное лоно мысли человеческой, среда, в которой движемся, воздух, которым дышим. Но это он же — лепечущая затаенность наша, трепетное сердце младенца, сокровенная песнь нашей внутренности, душа души в нас. Мы дорожим языком, поскольку признаем его объективным, данным нам, как бы наложенным на нас условием нашей жизни; но говорим воистину лишь тогда мы, когда мы же, сами, заново переплавив язык до малейших его изгибов, заново отливаем его п о с е б е, однако продолжая всецело верить в его объективность. И мы правы: ибо личная наша мысль опирается не на уединенный разум, коего, самого по себе в о в с е н е т, но на Разум Соборный, на вселенский  $\lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$ , и слово индивидуальное выговаривается не другой деятельностью, чем та, которая рождает и растит самый язык. Н е т индивидуального языка, который не был бы вселенским в основе своей; н е т вселенского языка, который бы не был в своем явлении — индивидуальным.

VIII. Но равновесие обоих начал блюдетя в процессе: живущим язы

новым творчеством. Попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется, — разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо сторона *ἔργον*, либо сторона *ἐνέργεια*. На первом полюсе тогда строятся искусственные языки. Пафос их — рациональность. В языке не должно быть, по замыслу этого рода изобретателей языка, не должно быть ничего непредусмотренного, никакого индивидуального творчества, никаких своеобразных мест и сторон, ничего такого, что не могло бы быть оправданным обще-годною полезностью, — причем, что именно полезно — устанавливает некая законодательная воля нового языка-творца.

Русские «должны» принять то-то и то-то в языке, немцы «должны», французы «должны», только сам Заменгоф, по-видимому, никогда ничего не был должен, — было замечено некогда Лескиным по адресу изобретателя «всемирного языка» эсперанто. То же должно быть повторено и обо всех изобретателях искусственных языков: каждый из них мнит себя сверхчеловеческим законодателем, выкраивающим по-своему всемирную историю, во имя своей, очевидно впервые за всю историю, разумной воли. Мановением этой-то воли язык и должен уподобиться: не — заросшему лесу, не — подчищенному парку, а Версальским садам.

Но конечно, на пути рациональности и практичности удовлетвориться одной подчисткою и распланировкой языка, — чему соответствует язык вроде эсперанто, волапюка или идо, — никак нельзя: исторические корни языка, народно-стихийное начало его все еще живо в речи, хотя бы и подстриженной; а впоследствии — конечно разрастется, опять-таки не планомерно, нерационально, одно пойдет сюда, другое туда, по-своему, и язык вернется к виду дико-растущего леса. Под ледяной корою слова, хотя бы и замороженного, все слышится

... струй кипенье,  
И колыбельное их пенье,  
И шумный из земли исход<sup>3</sup>.

Но струи пробьются наружу, ломая льды, и потечет и закружится неподвижная его поверхность. Если же быть последовательным, надо бы заткнуть устья живых родников языка. Да, уже если быть последовательным, надо бы забыть о языках существующих и не — перерабатывать их, составляя безобразную помесь, — с о й язык строить из все еще полуживых частей, а — обратиться к элементам, чуждым жизни и организации. Изобретателям тогда надо бы в порошок растирать употребляемый ими материал и строить воистину заново, по придуманному наиболее практичному проекту рационального языка, отнюдь не подражая языкам историческим. Тогда возникает то, что называют среди искусственных языков, «*ф и л о с о ф с к и м и я з ы к а м и ю*» — впрочем, имя недоразуменное и узурпаторское, ибо сооружения эти отнюдь не «языки» и тем более не «философские». Нет ничего более далекого, как от философии, так и от языка, нежели эти попытки окаменить весь язык, выжав все живые струи из науки и отлив систему железо-бетонных сооружений, — может быть более-менее удачно, в порядке экономии, выражающих ту или другую временную стоянку науки, но решительно закрепощающих, на означен-

<sup>3</sup> П. А. Флоренский вспоминает последнюю строфу стихотворения Ф. И. Тютчева «Безумие»:

«И мнит, что слышит струй кипенье,  
Что слышит ток подземных вод,  
И колыбельное их пенье,  
И шумный из земли исход!..»

ной стоянке именно, самое творчество мысли. Ведь задача «философского языка» — выкристаллизовать в нем все наличное содержание данной системы мысли и решительно возбранить вход в этот заколдованный дворец всем тем силам, которые могут нарушить строгую его чистоту, т. е. иначе говоря, навеки заморозить мысль в данном ее состоянии.

Таков один путь потери языком своего равновесия, — путь, исходящий из языка как «вещи», ἔργον. В основе этого извращения лежит неверие в абсолютную-о-зигдущую в самом движении своем силу Логоса, претворяющего в Разум косные, темные и слепые стихии. И поэтому этим неверам хочется опереть себя на нечто внешне-недвижное, на машину, установленную раз навсегда техническим рассудком.

IX. Другой путь к последовательной порче языка отправною точкою своею имеет сопряженный выше-указанному полюс — именно энергетическую природу языка, язык как ἐνέργεια. И на этот путь подвигает неверие в Божественное Слово. Но на первом пути неверия — отрицалась Его сила в органическом и исторически-данном явить Разумность, а тут, на втором пути, отрицается возможность в разумном быть Жизни и всяческой Существенности.

Язык стихийен, следовательно неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный, — гласит неверие в разумность Слова; язык разумен, следовательно — безжизнен и безсуществен, и потому надо извести из недр своих — новый язык, внутренней, существенный, разумный, — требует неверие в Существенность Слова.

«Если язык есть отклик всего нашего существа, то где же обеспечение того, что он не нарушит выгод разума?» — спрашивают одни, и отвечают отрицательно.

Если в языке раскрывается разум, то чем же обеспечивается жизненное его соответствие в сему нашему существу?» — слышится от других.

Наше чувство, — темное перво-ощущение мира, — весь океан подсознательного и сверх-сознательного, колышущийся за тонкою корою разума, — он-то разве не должен тоже выразиться в языке? А если мы попытаемся противиться напору стихий своего существа, разве они не раздробят — шутя — своей хрупкой сдержки? Негоден исторический язык, он слишком искусствен, слишком условен, слишком постоянен, слишком много в нем твердости и безличности; он слишком вещен: на смену ему да будет новый, — весь движение, весь самородность, беспримесная энергия творчества. Язык этот нельзя сочинить. Нельзя дать какие бы то ни было правила его созидания — кроме одного: отрешиться ото всех правил и прислушиваться к внутреннему прибору своей души. Не повторять заученные слова и обороты надо, а воистину говорить, даже не говорить — а петь, и не что-либо определенное, но — что поется, что рвется из переполненной груди всякий раз по-новому или, во всяком случае, заново открываемыми звуками, — всякий раз творя все новое. Тогда будет «заумный вселенский язык», от сердца к сердцу речь-пение, «заумная звуковая речь», без условий и договоров, подобная звукам природы, льющаяся из отверстой души и прямо во встречную отверстую душу, — язык искренний, как вопль отчаяния или крик боли, свежий, как радостный возглас, детски-наивный и ноуменально-мудрый сразу. Кто не воздыхал о нем?

О если б без слова  
Сказаться душой было можно<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> А. А. Фет, стихотворение «Как мошки зарею...»

Кто не знает радости, переполняющей грудь странными звуками, странными глаголами, бессвязными словами, полу-словами и даже вовсе не словами, слагающимися сами собою в звуковые пятна и узоры, издали подобные звучным стихам? Кто не припомнит слов и звуков смущения, скорби, ненависти и гнева, которые силятся воплотиться в своеобразную звуко-речь? Близость с природой вызывает наплыв лирических волнений: набухает в груди, и благовонные струи текут из переполненного сердца (Пушкин). И кажется, что именуются имена вещей более истинные, нежели те, которыми мы их именуем в повседневной жизни, — первобытные и сокровенные имена самих существностей Природы. Падают в лесной тишине лист, журчит ручей, воет ветер, алмазным фонтаном рассыпается соловей, пыхтит на лесном подъеме паровоз, рыкает из-за угла ринувшись, автомобиль — каждый звук есть голос стихий, шепот их, вопль их, крик их ко всей Природе. Но человек по-разному отзывался на разное. И ответ его — и м я веци.

Ревет ли зверь в лесу глухом,  
Трубит ли рог, гремит ли гром,  
Поет ли дева за холмом —  
На всякий звук  
С в о й отклик в воздухе пустом  
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,  
И гласу бури и валов,  
И крику сельских пастухов —  
И плешь ответ...<sup>5</sup>.

Х. Но есть звуки Природы, — все звучит! — звуки менее определенные, из глубины идущие звуки; их не всякий слышит и отклик на них родится трудно. Ч а й к о в с к и й писал о даре, присущем музыканту, «в отсутствии звуков среди ночной тишины слышать все-таки какой-то звук, точно будто земля, несясь по небесному пространству, тянет какую-то низкую, басовую ноту»<sup>6</sup>. Как назвать этот звук? Как н а з в а т ь пифагорейскую музыку сфер? Как назвать реющие и сплетающиеся, звенящие и порхающие звуки ночи, которыми жили Т ю т ч е в и, в особенности, Ф е т?

Солнце, нисходя в свои брачные покои, звучит неизъяснимо торжественною хвалою. И звездные лучи, сталкиваясь в мировых пространствах, звенят как ломающийся ноябрьский ледок. И молчание храма, древнего неслуженного храма, пропитано осевшими на стенах песнопениями. Все звучит и все просит об ответном звуке. Но ответный звук набухает в груди, вздымается грудь от прилива встречного тока, но не может воплотиться он в слово, и «неизреченные глаголы» бьются крылами о стены тюрьмы своей.

Где силы у меня схватить их на лету  
Средь непрестанных колебаний? ...  
В усердных поисках все кажется: вот-вот  
Приемлет тайна лик знакомый, —  
Но сердца бедного кончается полет  
Одной бессильною истомой<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> А. С. Пушкин, стихотворение «Эхо».

<sup>6</sup> Д. Дарский, «Радость Земли». Исследование лирики Фета. М., изд. К. Ф. Некрасова. 1916, с. 58. (Далее Дарский, Указ. соч. Цитаты из писем П. И. Чайковского, Н. Н. Страхова, Л. Н. Майкова и прозы А. А. Фета П. А. Флоренский приводит по этой книге).

<sup>7</sup> Приводим целиком стихотворение А. А. Фета, цитируемое П. А. Флоренским:

Как беден наш язык! Хочу и не могу —  
Не передать того ни другу, ни врагу,  
Что буйствует в груди прозрачною волною.  
Напрасно вечное томление сердец...<sup>8</sup>

И бездешные глаголы тогда хотят уже не словом сказаться, не речью, а прямо налиться звуками. В ответ на вибрация мира исторгаются из груди звуки же, претворенные в слова лишь приблизительно, или полу-претворенные, или совсем не претворенные. Этим — и не найдено искомое; но сейчас, при имеющихся возможностях языка, нет сил воплотить свой отклик. Не словами, а звуковыми пятнами, еще не расчленившимися, отвечающую бытию.

Стыдно и больно, что так непонятно  
Светятся эти туманные пятна,  
Словно неясно дошедшая весть...<sup>9</sup>

Иногда поэт или философ прикрывает эти пятна какими-нибудь словами, наскоро подобранными, приблизительно соответствующими их звуку, примерно, к а к -н и б у д ь, заполняющими и обрастающими интонацией мелодию звука, и своим, и н ы м, смыслом, не слишком мешающими впечатлению пятен — в прекрасном хоре звуков услышать что-то, похожее на слова. Тогда возникают речи, коих

... значение,  
Темно или ничтожно,  
Но им без волнения  
Внимать невозможно<sup>10</sup>.

Поэзия Фета, запоминающаяся, с неправильным синтаксисом, и порою непрозрачная в своем словесном одеянии, давно уже признана как род «з а у м н о г о я з ы к а», как воплощение за-словесной силы звука, наскоро и лишь приблизительно прикрытого словом. «Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи» [3, с. 78]; — свидетельствует сам Ф е т. А Ч а й к о в с к и й о нем: «Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами, искать родства между ним и Пушкиным, или Лермонтовым, или Ал. Толстым, или Тютчевым (тоже очень большая поэтическая величина). Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому часто, Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гете,

«Как трудно повторять живую красоту  
Твоих воздушных очертаний;  
Где силы у меня схватить их на лету  
Средь непрестанных колебаний?

Когда из-под ресниц пушистых на меня  
Блеснут глаза с просветом ласки,  
Где кистью трепетной я наберу огня?  
Где я возьму небесной краски?

В усердных поисках все кажется: вот-вот  
Приемлет тайна лик знакомый, —  
Но сердца бедного кончается полет  
Одной бессильною истомой».

<sup>8</sup> А. А. Фет, стихотворение «Как беден наш язык!...»

<sup>9</sup> А. А. Фет, стихотворение «С солнцем склоняясь за темную землю...»

<sup>10</sup> М. Ю. Лермонтов, стихотворение «Есть речи — значение...»

Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределом слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются на нем, утверждая, что стихотворение вроде:

Уноси мое сердце в звенящую даль —

есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немзыкального, пожалуй, это и бессмыслица — но ведь недаром же Фет, несмотря на свою, для меня несомненную, гениальность, вовсе не популярен<sup>11</sup>.

«Вы обладаете тайной удивительных звуков, никому другому не доступных»<sup>12</sup>, — писал Фету Страхов. И по Майкову, Фет считал поэзию «не только родственною с музыкой, но и нераздельною от нее: в момент творчества душа поэта приходит в музыкальное настроение; он поет, и самый строй его рифм не зависит от его произвола, а является в силу необходимости [...] — Мелодия почти опережает вольное, крылатое слово» [3, с. 65].

XI. Мелодия почти опережает слово, поэт почти поет. Почти... Но в том-то и дело, что ищется с л о в о, слово именно, или — нечто, ему подобное. В том-то и мука, что у поэма музыкальность есть музыкальность членораздельного слова, а не вообще звука, поэзия, а не чистая музыка, почему даже и Фет — все же поэт, а не музыкант. В том-то и трудность, что хочется не воспеть, а именно в ы с к а з а т ь несказанное. В том-то и вопрос, что реч ь н е м о ж е т не мыслиться в с е сильной, в с е сказующей, в с е выражающей, и Фет, мучившийся невоплощаемостью в слове, все-таки в о п л о щ а л неуловимые волнения, и именно в слове:

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук  
Хватает на лету и закрепляет вдруг  
И темный бред души, и трав неясный запах<sup>13</sup>.

Значения этих «речей» может быть «темно иль ничтожно», но несмотря на то, — все же р е ч и . Однако, где же граница «темноты» их или «ничтожества»? И не целесообразнее ли будет просто освободить звуко-речь, любуясь ею из груди, из от слово-речи, ужé, в сущности, все равно не несущей в себе адекватной логичности? Если значение речи «темно иль ничтожно», и ценим ее мы отнюдь н е ради ее художочной и декоративной логичности, но ради того, что ей «без волнения внимать невозможно», то не следует ли ей предпочесть звукоречь, которая вовсе не притязает ни на логическую ясность, ни на логическую значимость, но которой е щ е б о л е е «без волнения внимать невозможно»?

Случится ли тебе в заветный, чудный миг  
Открыть в душе давно безмолвной  
Еще неведомый и девственный родник,  
Простых и сладких звуков полный, —  
Не вслушивайся в них, не предавайся им,  
Набрось на них покров забвенья:  
Стихом размеренным и словом ледяным  
Не передашь ты их значенья<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Д. Дарский, Указ. соч. с. 65. (Письмо Н. И. Чапковского к вел. кн. Константину Константиновичу от 26 августа 1888 г.).

<sup>12</sup> Д. Дарский, Указ. соч. с. 64. (Письмо Н. Н. Страхова к А. А. Фету от 13 мая 1878 г.).

<sup>13</sup> А. А. Фет, стихотворение «Как беден наш язык!...»

<sup>14</sup> М. Ю. Лермонтов, стихотворение «Не верь себе!...»

«Не передашь» — «стихом размеренным», «не передашь», «словом ледяным». Но, может быть, возможен и иной стих, иное слово? В основе нет ничего, языком не сказуемого. Хотя сейчас нечто несказуемо, но, может быть, когда-нибудь и скажется в последствии. Сделаем язык более гибким, более восприимчивым, сдерем с него застывшую кору и обнажим его огненную, вихревую, присно-кипящую струю. Языка тогда сразу не возникнет, но образуются завязи нового творчества, и эти завязи, может быть еще недостаточно- или совсем почти неоформленные, впоследствии вырастут в слова и новые способы их сочетания. Твердое начало языка тогда перекристаллизуется более соответственно духу нового лирика.

Чтобы язык жил полностью жизнью и осуществлял свои возможности, надо освободить индивидуальную языковую энергию и — не бояться множества неудачных, уродливых и нежизненных порождений. Тогда, среди многого неудачного, осадится кое-что удачное, и бесходно нужное, — то возникнет, отсутствием чего болеет сейчас впечатлительная душа. Откликнемся природе по-детски, всем телом и всею душою. Вот как, по мысли таких искателей, творится новое слово:

Он — Вас. Вас. Каменский как поэт; Я — он же как человек.

«Мимо нас в долину пролетела ласточка.

Он крикнул ей:

— Вчить-карм.

Я мог бы спросить Его о значении этих слов, но почувствовал, что не надо.

Я почти понял.

Мне кажется, что рождение слов является разрывностью соединенной воли двух творчеств.

Линия острого Налёта ласточки близко и встречная стрела глаз Поэта, наблюдающего полет, в творческом пересечении дают звук:

— Вчить.

Линия отлёта и мгновенный вымыв вверх и испуганный резкий поворот кидают отзвук:

— Карм.

Творчество ласточки заключалось в рисунке движения и в свистящем шуме, рассеваемого крыльями воздуха.

— Вчить-карм.

Творчество Поэта возникло на точном определении звуковой формы и на ритмическом соединении единого впечатления, сконцентрированного волей верного мастера — песнебойца.

— Вчить-карм.

Так наивно — приблизительно я (скрывая от Поэта) объясню момент словотворчества, понимая ясно, что хризолитовая линия падающей звезды — объясненная словами — (да еще днем) будет походить на кишку, вымотанную медведем из коровы [4, с. 127—128].

ХII. Провозглашением этой свободы индивидуального языкового творчества обязаны мы сперва романтикам, а повторно — декадентам и футуристам. Последняя «декларация слова, как такового», — разумею всю деятельность футуристов в ее совокупности — едва ли много прибавила в понимании языка, и со стороны теоретической не может расцениваться высоко. Но общественное, а потому жизне-творческое ее воздействие, еще не вполне сказавшееся, было, думается, угловою точкой в истории словесности, и будущий историк отметит ее, как некоторый водораздел. Вот почему я останавливаюсь здесь именно на футуристах, как наиболее остро и впервые выразивших свое начало, и не говорю о более новых течениях,

может быть, большего достигнувших, но не столь определенных в своей сущности, и к тому же еще не отшедших в область истории.

Как выступили футуристы — это было главным. Мысли, давно продуманные языковедами, психологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились инфекции в запаенных колбочках. Умы иммунизированные оставались холодными, хотя и обращались с острейшим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки, — крепче всякого вина, и слово, само себе предоставленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята футуристами, как речетворчество, и в слове ощутили они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, они заголосили, забормотали, занели. Посыпшались: новые слова, новые обороты, а то и просто звуки — «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не жизнеспособно. Но не в том сила. Решительным сказался самый Sturm und Drang, с которым, подпираемые напускною самоуверенностью и неподдельной молодостью, начала речетворчества метнулись на эстраду, в печать, в разговоры. На хмельной напиток слова слетались подростки и юношество, лучшие его распространители, сами еще недалекие от того возраста, когда всякий по естественной необходимости, переживает речетворчество и гениальность. Интерес скандала, разгоревшийся около футуризма, счастливо содействовал его успеху; к футуризму не отнеслись всерьез, — и проглядели его «опасность»: он, как взбалмошное дитя, получил право брякать такое, чего не потерпели бы от других. Свою правду эти «баячи-будетляне», т. е. поэты будущего, не высказывали, а выкрикивали, облекая друшлявыми парадоксами. «У писателей до нас, — пишет один из них, — инструментарка была совсем иная, напр. —

По небу полуночи ангел летел  
И тихую песню он пел ...

Здесь окраску дает бескровное пе ... пе .... Как картины, писанные киселем и молоком нас не удовлетворяют и стихи построенные на:

па-па-па  
пи-пи-пи  
ти-ти-ти и т. п.

Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звуко- и словосочетания:

дыр бул щыл  
убещур  
скуп  
вы со бу  
р л эз

(кстати в этом пятистишии больше русского национального чем во всей поэзии Пушкина)

не безголосая томная сливочная тянучка поэзии (пасьянс ... пастила...) а грозная б а я ч ь [кстати сказать переведенная, — из Артура Рембо. — П. Ф.]:

Каждый молод молод молод  
В животе чертовский голод  
Так идите же за мной...  
За моей спиной.  
Я бросаю гордый клич  
Этот краткий спич!  
Будем кушать камни травы  
Сладость горечь и отравы  
Будем лопать пустоту

Глубину и высоту  
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,  
Ветер, глины, соль и зыбь! ..  
(Д. Бурлюк)» [5, с. 8—9].

И хорошо, что футуристы так заговорили — и заставили выслушать себя. Подлив этого кипятка и дерзостей к тающему снегу общественной мысли, они подогрели последнюю на несколько градусов. Дурачась и озорничая, они одерживали победу, и прежде всего — труднейшую: заставили к себе прислушаться. Их бесшабашность нарушала чинный тон литературы и не считалась с накрахмаленной ее жесткостью; теперь — противники их порою сами «будетляниствуют». В 1910 году вышла первая книга футуристов — «Садок Судей», напечатанная на оборотной стороне обой. О ней, — продолжу свидетельством В. В. Каменского, — о ней «стали много говорить. Всех поражала оригинальность, смелость, неожиданность, крайность, молодость. Критика конечно заквакала во все болото, Рыцарей исканий называли в газетах — Обойные Поэты — анархисты — сверхдекаденты — кучка желающих прославиться — футуристы — клоуны-американисты» [4, с. 103]. Но «клоуны» не унывали, вербовали себе новых сотрудников, ураганным огнем метали в читающее общество книги, брошюры. «Московская зима (1913 года. — П. Ф.) расцвела бурно. Футуризм разлился океаном. Василий Каменский, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский после ряда отчаянных выступлений (с Крученых и Хлебниковым) в Москве и Петрограде, получили приглашение на гастроли по России.

Маяковский ездил в ярко шелковых распахонках, в цилиндре.

Давид Бурлюк — в сюртуке, с неизменным лорнетом, с раскрашенным лицом, в цилиндре.

Василий Каменский — в коричневом костюме, с нашивными яркими лоскутами, с раскрашенным лицом, в цилиндре. [...] Улицы Харькова, Одессы, Киева, Ростова, Баку, Тифлиса, Казани, Самары, Саратова и второстепенных городов оказались не менее взволнованными, чем землетрясением.

Всюду театры были переполнены возбужденными массами.

Газеты встречали и провожали шумным треском столбцов всяческих критиков» [4, с. 130].

Все это — «дела давно минувших дней». Бунтари вошли в берега и занялись иным. Но нам, уясняя свою мысль, удобнее остановиться на той, — уже отошедшей в предание, волне. «Декларация слова, как такового» помещена в 1913-м году Алексеем (Александром) Крученых в следующих тезисах:

«1) Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот.

2) Согласные дают быт, национальность, тяжесть, гласные — обратное — в с е л е н с к и й я з ы к. [...]

3) Стих дает (бессознательно) ряды гласных и согласных. Э т и р я д ы н е п р и к о с н о в е н н ы. Лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки — мыки — кыка).

Одинаковые гласные и согласные, будучи заменены чертами, образуют рисунки, которые неприкосновенны (напр. III — I — I — III). Поэтому переводить с одного языка на др. н е л ь з я, можно лишь написать стихотворение латинскими буквами и дать подстрочник. Бывшие д[о] с[их] п[ор] переводы лишь подстрочники, как художественные произведения, они — грубейший вандализм.

4) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не

только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее. (Пример: го оснег кайд и т. д.).

5) Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и „изнасилованное“. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена.

6) Давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить (условность времени, пространства и проч.) [...].

7) В искусстве могут быть неразрешенные диссонансы — „неприятное для слуха“ — ибо в нашей душе есть диссонанс, которым и разрешается первый. Пример: дыр, бул щыл и т. д.

8) Всем этим искусство не суживается, а приобретает новые поля<sup>15</sup>. Нечто подобное высказывает и Н. Кульбин.

А. Крученых и В. Хлебников поясняют эти тезисы: «Живописцы бюджетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а бюджетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность. И этим именно отличается язык стремительной современности уничтожившей прежний застывший язык. [...] Этот выразительный прием чужд и непонятен выцветшей литературе до нас, а равно и напудренным эго-пшютистам (см. „Мезонин поэзии“)<sup>16</sup>» [5, с. 12].

XIII. На словотворчестве сосредоточены по преимуществу русские футуристы. Правила же словосочетания почти не привлекли их освободительного пыла, отчасти по пройденности этого пути уже западными футуристами, еще же более — потому, что русский синтаксис, сам почти футуристически-свободный, предоставляет личности безграничный простор, и требует не расторжения своих граней, а скорее неустанного чекана. Напротив, стесненность романского синтаксиса, особенно замороженность французского, уже давно вызывала на бунты. В «Техническом манифесте футуристической литературы» Ф. Т. Маринетти провозгласил 11 мая 1912 года:

«1. Нужно употреблять глагол в неопределенном наклонении, ибо только таким образом может быть передано чувство непрерывности жизни и эластичности интуиции, воспринимающей ее.

2. Нужно уничтожить прилагательное, чтобы существительное сохраняло свою основную окраску. Прилагательное несовместимо с нашим динамическим мировоззрением, ибо оно предполагает паузу, остановку<sup>17</sup>».

Но неопределенное наклонение — это то же существительное, отглагольное существительное, герундий. Следовательно, реформа синтаксиса заключается в устранении всех частей речи, кроме существительных. Вопреки самосвидетельству футуристов, можно усомниться, чтобы такая онтологизация языка в самом деле соответствовала мироощущению современности, упоенному бешеным темпом электро-аэропланно-кинематографической жизни и ненавидящему покой. «Мы возвещаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости» [6, с. 36], —

<sup>15</sup> См.: «Грамоты и декларации русских футуристов», СПб., 1912.

<sup>16</sup> См.: Г. Гастевен, Футуризм. (На пути к новому символу). С приложением перевода главных футуристических манифестов Ф. Маринетти. М. 1914, с. 27. Говоря о футуристах Запада, П. А. Флоренский ориентируется на это издание.

заявляет манифест. По мнению футуристов, «человеческая чувствительность, под влиянием великих научных открытий, совершенно обновилась. Почти все, кто в настоящее время пользуется телеграфом, телефоном, граммофоном, железной дорогой, велосипедом, мотоциклетом, автомобилем, океанскими пароходами, дирижаблями, аэропланами, кинематографом и большими газетами (дающими синтез мирового дня), не думают, что это оказывает решающее влияние на наше сознание» [6, приложение, с. 12]. «Не заботясь о нелепых определениях профессоров, я объявляю вам, что лиризм есть очень редкая способность опьяняться жизнью и опьянять ее собой [...]. Вообразите, что ваш друг, обладающий даром лиризма, находится в зоне повышенного напряжения жизни (революция, война, кораблекрушение и т. д.) и рассказывает только что пережитые им ощущения. Знаете, что инстинктивно сделает ваш друг, начиная свой рассказ? Он резко разрушит синтаксис во время разговора, не будет тратить времени на длинные периоды, уничтожит пунктуацию и порядок прилагательных и бросит вам доспешно в нервы все свои зрительные, слуховые и вкусовые ощущения, по прихоти их безумного галоп. Напряжение пара эмоции взорвет трубу периода, клапаны пунктуации и прилагательные, которые обыкновенно расстанавливают наподобие болтов. У вас будут целые пригоршни существенных слов без всякого условного порядка, так как единственной заботой вашего друга будет передача всех вибраций его я. Если этот рассказчик, одаренный лиризмом, будет сверх того обладать умом, богатым общими идеями, то он невольно будет постоянно связывать свои последние ощущения со всем, что ему экспериментально или интуитивно известно. Он накинет на мир огромные сети аналогии, передавая таким образом жизнь телеграфным способом, т. е. с той быстротой, которую телеграф по необходимости развивает у репортеров, у военных корреспондентов в их поверхностных рассказах.

Эта потребность в лаконизме не только соответствует законам скорости, управляющим нами, но также многовековым отношением между поэтом и публикой. Эти отношения очень похожи на товарищеское отношение старых друзей, которые могут объясниться одним словом, одним взглядом. Вот почему воображение поэта должно связывать отдаленные вещи без всяких проводов, только существенными словами.[...]

Под беспроводным воображением я подразумеваю абсолютную свободу образов или аналогий, выражаемых освобожденными словами, без проводов синтаксиса и без всяких знаков препинания» [6, прилож. с. 16—17]. Отсюда, далее, выводятся вышеупомянутые начала — устранение прилагательного, пользование неопределенным наклонением глагола, — «оживление лиризма сырыми элементами реальности» [6, прилож. с. 20] чрез «звукоподражательные аккорды»; сюда же относятся регулирование быстроты стиля с указанием темпов (*diminuendo* и т. д.), типографские новшества, как-то применение 3—4-х красок на странице, пользование разными шрифтами до 20-ти включительно и «свободное выразительное правописание» [6, прилож. с. 22]: «Мы хотим теперь, чтобы лирическое объяснение не располагало более слова по порядку синтаксиса прежде, чем выразить их через различные дыхания, изобретенные нами. Мы приходим, таким образом, к словам на свободе. Кроме того, наш лирический хмель должен свободно деформировать, преобразовывать слова, укорачивая или удлиняя их, увеличивая их центр или окончания, увеличивая или уменьшая количество гласных или согласных. Мы получим таким образом новое правописание, которое я называю свободно выразительным. Эта инстинктивная деформация

слов соответствует нашей естественной склонности к междометию. Что за беда, если деформированное станет двусмысленным. Оно будет лучше сливаться с аккордами междометий или синтезами шумов и позволит нам скоро прийти к звукоподражательному психическому аккорду, звуковому и в то же время абстрактному выражению эмоции или чистой мысли» [6, прилож. с. 23]. Все эти провозглашения — не новости; Г. Тастевен отметил, что Стефан Малларме († 1898 г.), в своих «Divagations» «не только создал футуристическую поэтику, но предсказал опыты русских кубо-футуристов: Крученых, Василиска Гнедова. Так, он «определенно сказал, что внесение принципа музыки в поэзию приведет к разложению стиха на первоначальные элементы языка» [6, с. 24—25]. Он указывает на несоответствие звука слова и его идеи (например, *luit* вызывает светлые тоны, *jour* — темные) и поэтому искал совершенного языка, названий, соответствующих вещам. Малларме же потребовал удлинения или укорочения слов, согласно требованиям ритма. Он же «называет стих идеальным мистическим словом, которое отдельные слова переплавляет, превращает в новое, совершенное коллективное слово, не существующее в языке» [6, с. 26]. Осуществленный на деле, этот принцип аттракции слов ведет к сrostанию, деформации и взаимопроникновению слов, подобно тому, как взаимно проникают формы в картинах кубистов или минералы в кристаллических двойниках. Так у Константина Олимова:

Оазис — гамаюн, кудесно успокоясь,  
Младенчит пальмное окно.  
Издали дробит звон — пустынный богомолец, —  
Опеньяв молчное зерно.

Дальнейшее же применение тех же начал ведет к исчезновению слов и образованию из слов отдельных ритмических комплектов. Наконец, Малларме же оставил синтаксическую конструкцию; поэт для него — законодатель слов, сочетающий слова, по ему лишь ведомым законам. Он же советует избегать слов, материализующих отношение предметов, пользоваться глаголом в неопределенном наклонении и заменять прилагательные отвлеченными действительными, а также отменить пунктуацию, особенно в поэзии. «Словотворчество, разрушение синтаксиса и освобождение слова, подчинение слов ритму, являются реализацией идей Малларме» [6, с. 29].

Но и Малларме, пытавшийся воплотить эти начала в речетворчество, не был их открывателем: первоисточник их — тот же Вильгельм Гумбольдт. Имею в виду главным образом его понимание речи, как непрерывного целого, отдельные элементы коего рождаются на этом лоне и, следовательно, подчиняются ритмической закономерности целого, но не — образуют, напротив, целое своею суммой. «Речь течет непрерывною рекою и говорящий всегда имеет в виду только совокупность выражаемых им мыслей, пока не приходит время, когда самый язык делается предметом мыслящего наблюдения. Нельзя и представить, чтобы образование языка начиналось названием предметов отдельными словами и только в продолжении своем достигало соединения слов (синтаксиса). Не речь составила из слов, а, наоборот, слова произошли из органической совокупности речи. Тем не менее существование отдельных слов ощутительно непосредственному чувству говорящего [...], потому что образование слов составляет существенную потребность речи. Объем слова составляет границу, до которой простирается самодеятельность образовательной си-

лы языка. Слово есть полный, распутившийся цвет языка; в слове язык дает свое окончательное произведение. [...] И в речи слова являются иногда изолированными; но правильно отделять их из непрерывного течения речи удается только меткому взгляду гения языков совершеннейшего устройства; это такой пункт, на котором языки всего яснее обнаруживают свои преимущества и недостатки» [2, с. 72].

XIV. Но, исторически, новшества футуристов — отнюдь не *futurum*, а *plusquamperfectum*; правильно указывая на иные возможности языка, футуристы кажется забывают, что путь к осуществлению — презираемый ими *пассеизм*; однако отсюда не следует, чтобы те или другие отдельные попятные движения были нецелесообразны. Тем не менее развитие языка в истории идет именно от «футуризма» к современности. «Радостное изумление самому языку, ощущаемое при его воспроизведении в живой речи по требованию каждого мгновения, мало-помалу уменьшается. Дейтельность народа», от речетворчества, «переходит больше на употребление языка [...]. Удивление и радость переходят теперь к отдельным изречениям. Песни, молитвенные воззвания, изречения, сказки, возбуждают желание выделить их из потока мимолетного разговора: они сберегаются, равнообразятся, делаются предметом подражания — и вот первые зачатки л и т е р а т у р ы. Это образование духа и языка мало-помалу переходит от совокупности народа в преимущественное обладание отдельных лиц: язык передается в руки певцов и учителей народа [...]. Впоследствии являются г р а м м а т и к и [...]. Им не принадлежит собственно творчество; они не могут навязать народу ни флексии, ни обычая сливать со словами приставки в конце или в начале. Но они выбрасывают одно, обобщают другое, сглаживают неровности, пополняют пробелы [...]. В этой сфере они являются истинными законодателями, воссоздавая впрочем эти законы из беспредельного запаса подлежащего им языка [...]. В течение времени язык не раз может подвергаться такой обработке; чтобы он делался языком образованным, оставаясь в то же время народным, надобно, чтобы он правильно и непрерывно переходил от народа в руки писателей и грамматиков, а от них обратно в уста народа [...]. Может настать и такое время, когда язык своим собственным развитием как бы пересиливает народный дух, который, оставляя в своем усилении самобытное творчество, пускается в пустую игру оборотами и формами, проистекшими первоначально из глубокомысленного употребления. Это — вторая д р я х л о с т ь языка, если первую почесть потерю силы создавать внешнее строение языка [2, с. 185—186].

Гумбольдт отмечает и личный оттенок языка в устах каждого говорящего. «Каждый человек употребляет слово для выражения своей особенной личности: оно всегда истекает от отдельного лица и каждое лицо пользуется им прежде всего лишь для самого себя [...]. И нельзя сказать, чтобы простекающие отсюда неровности сглаживались в этом общем для всех органе. В языке, конечно, есть переходы от одной особенности к другой и эти переходы делают возможным взаимное понимание между людьми; но самые разности от этого скорее усиливаются, чем ослабляются: потому что разъяснением и уточнением понятий в языке тем яснее доводится до сознания, как глубоко лежат корни этих разностей в особенном умственном настроении отдельных лиц [...]. Каждый язык способен как бы делиться на бесконечное множество языков для отдельных личностей в одном и том же народе, и все это множество языков, в сравнении с языками других народов, является одним целым, которое резко отличается своим характером» [2, с. 187].

XV. Но, оставив споры о приоритете, посмотрим, что же именно творят «будетляне».

Мне думается, их творчество может быть распределено по четырем разрядам в возрастающей степени новизны. П е р в ы й разряд новообразований — это образование слов, заменяющих собою более громоздкие выражения, но построенных аналогично уже существующим формам других слов; таковы: «осузружиться», «окалошиться», «офраться», «онездешниться», «поверхноскользие», «дерзобезумие» и т. д.

Детскому языку свойственно постоянное кипение подобного словообразования, как не чуждо оно и языку народному. В основе, против таких образований возражать никто не может, кроме разве предостережения, не пойти по легкому пути поверхностных аналогий, и тем затемнить какие-нибудь глубокие различия, которые не позволили в языке возникнуть предлагаемому данному новшеству. Слова вроде «голубель» — обозначение небесной голубицы, «журчей» — обозначение ручья, звукоподражательных вроде, «чурлюжурчит»<sup>17</sup> звучат убедительно, но, конечно, надо еще хорошенько подумать, не обойдется ли доверие к этой убедительности слишком дорого, если мы примем их в состав языка.

К речетворчеству в т о р о г о разряда следует отнести орнаментальное, — так сказать, арабесочное пользование словом. Звук не теряет еще своей грамматической формы, но форма служит здесь не логической функции смысла, а лишь, или почти лишь, системой угловых зеркал, многократно и разнообразно отражающих один, или небольшое число, корней.

Эта формальная разработка корня или нескольких корней имеет и некоторый, весьма скромный, логический смысл. Но производится она не ради него; она являет красоту звука, дает понять ценность самого материала речи — стихийную основу, из которой возникает и логическая речь, и тем острее заражает непосредственно-стихийным содержанием слова.

Вот стихия улыбки, переходящей в смех:

О, рассмейтесь, смехачи!  
О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеяются смеяльно,  
О, засмейтесь, усмеяльно!

О рассмешиц надсмеяльных — смех усмейных смехачей!  
О исмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!

Смейево, Смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики —

Смеюнчики, смеюнчики,  
О, рассмейтесь смехачи!  
О, засмейтесь, смехачи!<sup>18</sup>

Так, в приливе нежности, или другого чувства, развиваются и многократно преломляются темы слов — всяким, но с меньшею талантливостью, Или, вот:

Я смеярышия смехочеств  
Смехистелияно беру  
Нараскаяяных ходочеств  
Кинь злооку — губирию.

<sup>17</sup> Здесь П. А. Флоренский ссылается на издание: «Студия импрессионистов» книга 1-я, ред. Н. И. Кульбин, изд. Н. П. Бутковской, Спб. 1910, с. 4.

<sup>18</sup> В. Хлебников, стихотворение «Заклятие смехом».

Пусть гопочичь, пусть хохотичь  
Гопо гоп гопочей  
Словом дивных застрекочет  
Нас сердцами закипей<sup>19</sup>.

К этому же постижению стихии речи, через еще большее освобождение ее от общей формы отнесем еще примеры — тонко выраженные переходы от восторга, прорывающегося через смущение и какую-то скрывающую от себя самую мысль: так, приблизительно, разрушает обычный строй речи человек, переполненный чувством, в особенности при ослаблении от усталости или иных причин памяти. Логическая прозрачность речи при этом затуманивается, но сила непосредственного напора возрастает. «Глубирь» — существо, живущее в глубине; «закипей нас» — «заставь нас кипеть» — словообразования при волнении приятного.

Это-ли. Нет-ли.  
Хвои шуют, шуют.  
Анна, Мария, Лиза-нет  
Это-ли-Озеро-ли.  
Лулла, долла, лалла-гу,  
Лиза, лолла, лулла-ли,  
Хвои шуют, шуют,  
Ги-и, — Ги-и-у-у  
Лес-ли, — озеро-ли.

Это-ли.  
Эх, Анна, Мария, Лиза  
Хех-тара.  
Тере-дере-дере... Ху.  
Холе-кулэ-наэ  
Озеро-ли. Лес-ли  
Тио-и  
ви-и... у<sup>20</sup>.

Это убедительно. Ну, конечно, хвои «ш у я т», а не делают при ветре что-либо другое; звук их непрерывен, а шуметь может только прерывистый, прерывающийся колебаниями звук листьев: ж в слове «шум» — есть задержка и разрыв звука. В словах, даже поверхностно разбираемых, часто находится сторона звукоподражательная; тут же она усиливается или дифференцируется. Звукоподражания, конечно, не новинка, и даже далеко отстают от некоторых более замысловатых подолок такого же рода, где не голыми звуками, воспроизводятся звуки только, но более того, словами и даже осмысленными предложениями одного языка звуки, а то и слова и осмысленные предложения иного языка. Примером звукоподражания словами может быть хотя бы всем известная сыздетства украинская шутка

Мария лён тре,  
Сам пан теля пасэ,

передающая звуки языка французского. Примером более труднойковки — похвальное слово своему учителю писателя XVII-го века Лья Моденского<sup>21</sup> — звучащее сразу на тех двух языках, на которых

<sup>19</sup> В. Хлебников, стихотворение «Черный любирь».

<sup>20</sup> Е. Гуро, В. Хлебников, А. Кручёных, Трое. Спб. 1913, с. 73.

<sup>21</sup> Леон, Иуда Арье из Модены — ученый, раввин и поэт, сын Исаака из Модены и Дианы Рахили, род. в 1571 г. в Венеции, умер там же в 1648 г. — Еврейская энциклопедия. Под общей редакцией А. Гаркави и Л. Каценельсона. Т. 10. Спб. 1914, стлб. 165—168.

покойный вел с ним свое преподавание. Ниже приводимое стихотворение может быть прочтено безразлично по-еврейски, или по-итальянски. Вот оно:

Kina chemor oime che pass ozerbo.  
Chi nas se muor oime pas acerbo.  
Col tob eilom cosi or din elzilo.  
Colto vien l'huom, cosi ordine il cielo.  
Mose Mori Mose iakar deber ho.  
Mose Mori gia car de verbo.  
Sam thousia jam kipour honze lo.  
Santo sia ojn huom con puro zelo.  
Cala meitab iamai sen zouri asser bo.  
Challa meta giamì senza reserbo.  
Iarib an maveth ra aim can iarpelo.  
Arriv' huom mavodran en cangiar pelo.  
Sephina beim nal el ober iameno.  
Se fin habbian chal nel celo vero ameno.  
Halem ionba sebi iassai' semeno.  
Va l'huom vaseviva assai se meno.

Стихотворение, ниже приведенное, подражает говору восточного города и передает общую звуковую картину, доносящуюся с рынка в открытое окно.

Хан хан да даш  
Шу щур и дес  
Вилярь ягда  
Суксан кардекш  
Мак са Мак са  
Яким ден зар  
Вакс бар дан як

Заза

Сю сеч баад и  
Гар ё ада бе  
Мен хатт зайде  
Вин да чок ме <sup>22</sup>.

XVI. До сих пор мы находимся в области сказанного удачно или слабо, но допускающей оценку. Можно доказывать свое суждение о «смеюничках» или «хан хан да даш», ибо известно, что требовалось осуществить и потому можно взвесить, насколько поставленная цель достигнута. В приведенных выше примерах есть λόγος, хотя по иному, чем в обычной речи.

Совсем особо стоят два последующие разряда речетворчества футуристов. Нельзя сказать, чтобы в них λόγος отсутствовал; но его там не видишь, поскольку не видно, постольку и самые творения выходят за пределы оценок. Отсюда не следует, что они не удачны; но, стремясь стать до конца субъективными, они и становятся такими, а потому объективно решать, удачны они, или нет, тоже нет возможности. В этих opus'ax, как их величают авторы, нет ничего вселенского, нет ничего

<sup>22</sup> Антон Лотов. Мелодия Восточного Города. В кн.: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», книга 22, СПб. 1914, с. 141. П. А. Флоренский использует две статьи К. Чуковского из данного сборника: «Эго-футуристы и кубофутуристы» и «Образцы футуристических произведений. Опыт хрестоматии».

словесного. Может быть, они превосходны, может быть, никому не годны, — судить не читателю. Тогда автору? — Нет, и не автору, если он искрен в своей заумности, ибо, если он воистину и насквозь за-умен и потому бес-словесен в своем творчестве, то и сам он не знает, что долженственно воплотиться у него в звуке, а потому не может и судить — воплотилось ли.

Мало того, за-умный язык преследует высшую степень натуральности, полную непосредственность своего выявления: слово насилует непосредственно-ощущаемое, и только развязанное до чистого звука оно достаточно гибко, чтобы быть звуко-речью глубин. Но тогда-то именно, со устранением логической формы, устраняется и самое суждение подлинности. При полной бессловесности, стон души, насквозь искренний, никак не отличим от шутки или подделки, не выражающих никакого внутреннего движения. Мы не знаем, что воплотить хотел поэт, иopus его не дает никакого «что». Подлинно ли, и — если подлинно, — удачно ли его «к а к»? Первое неведомо никому, кроме автора, и остается на его совести, а второе — неведомо даже и автору, если даже чиста его совесть насчет подлинности за-уми. Явно, что это уже не поэзия, если сначала надо исповедывать поэта.

Крученных, уверяет, что в его, ныне прославленном,  
дыр, бул щыл и т. д.

«больше национального, русского, чем во всей поэзии Пушкина». Может быть, но именно, только «может быть», но может быть — и наоборот. Мне лично это «дыр бул щыл» нравится: что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом «р л э з» выводит, как намазанная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. Но скажите вы: «А нам не нравится», — и я отказываюсь от защиты. По-моему, это подлинное. Вы говорите «Выходка», — и я опять молчу, вынужден молчать. И «перевертня», вроде

Кукси кум мук и сук <sup>23</sup>,

за исключением свойства читаться взад и вперед одинаково бессмысленно, не дает более того почвы для общечеловеческих суждений; что же касается до вышеупомянутого свойства, читаться прямо и наоборот, то оно было давно известно, но не исключало, притом, в так называемых в теории словесности «П а л и н д р о м о н а х», — и осмысленности, например, в известном со школьной скамьи «перевертне» Державина —

«Я иду с мечем Судия».

И: «Мал си кунб дравд бер на те ге не рю ри ле лю бе хо мо ло ре рюк крюд итри би пу...» [7, с. 117], далее того идущее по пути разложения слова, тем менее подлежат разбору критики, а вдобавок вовсе не занято, хоть и напечатано на цветной бумаге.

Еще дальше, и разложенное слово оставляет на бумаге кляксы, даже не выговариваемые. Так, из какой-то мифической книги «Рекорд»,

ь ь ь ь ь ь ь

63 333 3330

Ха дур тап

Еси Еси [7, с. 140], —

вероятно ребус, разгадывать который мне нет времени (3-я строчка, читаемая навыворот, дает «на трудах»), в котором только и есть хорошего,

<sup>23</sup> В. Хлебников. Перевертень. «Садок Судей II», с. 20.

что Ъ, да еще в таком количестве, в наше время радующий взор. Таковы неудобочитаемые стихи из одних согласных:

Счтрп трг ждвр  
Сык чпр вчнд [7, с. 140],

или из одних гласных:

О е а  
и е и  
а е е

Сюда же относятся вензеля из слов, букв и знаков препинания, вроде:

и к  
к и  
о л  
лика ве по  
л и о л  
е о е  
в в в  
о е  
л [7, с. 140]

или

ш→ кси  
.....?  
.....?  
.....?

[7, с. 140].

И т. п. Нет никаких оснований отрицать, что у авторов подобных произведений в минуту творчества могла быть полнота экстаза; но бесспорно и то, что переживаемое ими не облеклось в всечеловеческую умную словесность, а потому, может быть и заумное, не воплотилось, и только на Страшном Суде выяснится, не есть ли вся эта поэзия — шаловливая проделка, — ребусы, которых из приличия лучше не разгадывать. Но будем методологически доверчивы и примем все эти *opus*'ы без хитростей и «без обиняков», за чистую монету.

Эти точки и черточки, гласные и согласные, пачкающие бумагу, — наименьшая степень воплощенности, почти не отличаются от чистого словесного ничто. Поэтому был естествен в истории футуризма и переход к «Поэме» Василиска Гнедова, где на чистом листе написано одно только слово: «шиш», и, далее, тоже, с позволения сказать, к «поэме» — Чистому листу, где нет ни букв, ни даже знаков. И опять: никто не смеет ( — методологически отстраняю все подозрения —), никто не смеет, не залезая в совесть автора, сказать о субъективной его неискренности или об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент такого творчества Василиск Гнедов или А. Крученых мог быть (опять держусь методологического доверия), мог быть очень углубленно живущим и очень подлинно творящим.

Да, творил, но не сотворил. Ему лист бумаги казался, спяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках — лист и только лист. Такой лист может быть самым глубоким из заумных неизреченных глаголов; но их «не леть человеку глаголати»: и заумный язык нуждается в Логосе. Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в иступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык.

XVII. Футуристы понадобились нам, по ходу мысли, как наиболее яркие и последовательные представители непосредственно-творческой, текучей стихии языка; наше дело теперь — всмотреться в условно-надуманную, п р е б ы в а ю щ у ю его стихию, заботу о чистоте коей берет на себя «философская грамматика». Среди многочисленных опытов сочинить такой язык достопримечательнейшим мне представляется «Опыт точного языкознания» Я. Л и н ц б а х а. Книга «Принципы философского языка», этот опыт содержащая, глубоко поучительна, не только как отрицательная инстанция в развитии нашей мысли, но и сама по себе, множеством насыщающих ее отдельных наблюдений и своеобразных соображений. Скажу более: в ней все занимательно и полновесно, — все, кроме основного ее замысла. Замысел же, проводимый Линцбахом, неуклонно-настойчиво и последовательно, если угодно — пленительно развертывающийся в этой своей последовательности перед изумленным читателем, неприемлем и претит; еще никогда и никем не делалось столь безжалостной, столь нечеловеческой, столь противестественной попытки покуситься на самый средоточный из даров человеческого существа, на самое сокровенное из достояний наших — на язык. Если бы линцбахизм был на самом деле проведен в жизни, то пред такой реформой человеческого духа пустячками показались бы самые крайние из выводов утопизма. Язык — самое глубокое из проявления Я, и Я, без языка, — уже окончательно не выраженное во вне, — перестает быть объектным даже для себя; оно тогда всячески не действительно. Посвятить на язык, на орган нашей мысли, и, шире, — нашей личности, и пытаться вместо него поставить условность, хотя бы и гениально придуманную, но не связанную с нами непосредственно, — это значит пытаться вырезать рождающие недра нашего духа и заменить их механизмом. Пусть он в своей деятельности подражает рождению, подобно тому, как восковой автомат «подражает» славному герою, или как утка Вокасона «глотала и даже переваривала пищу». Но по самой сути своей, по замыслу своему, именно такой механизм отрицает рождение, а вместе с ним — и всякую идею органичности. Конечно, сам Линцбах, конструируя свой остроумный механизм, тоже живет, (так жил своим изобретением и Жозеф Гильотен); он даже может радоваться и гордиться своим творчеством. Но негодующим взмывом возмущаются души, понявшие, что им предназначено изобретателем: логотомия.

XVIII. Как и футуристы, Линцбах исходит из неудовлетворенности языком, существующим, не тем или иным языком, но в о о б щ е исторически-существующим языком во всех его видах. Однако, смежность «философского языка» с «языком за-умным» исчерпывается этим их отрицанием, имеющим, к тому же, смысл различный до противоположности.

Пафос футуризма — возврат к до-логическому стихийному хаосу, из которого возник язык; у футуристов показательно их чувство корней языка, — если брать это слово в его общем, не терминологическом смысле; футуристы — консерваторы и ретрограды, и если они бунтуют, то потому, что первичный хаос и есть неукротимый извечный бунт. Футуристам язык — нечто свое, глубоко родное, и, чувствуя себя в языке, как дома, они и располагаются тут «как дома». Напротив, Линцбаху язык, не русский язык только, а всякий язык, как таковой, столь же глубоко чужд, и, будучи в языке, как на официальном визите, Линцбах спешит отделаться от него и вообще отменить его. Пафос Линцбаха — устройство чего-то с в о е г о взамен языка. Линцбаху, кажется, даже

на мысль не западало, что материя, воплощающая смысл речей, есть не условная, безразличная масса, а самая с у т ь языка, наше существо, м ы с а м и. Может быть, мое сердце не такой удачный насос, какой мог бы придумать «взамен» механик, но мне пужно именно мое, пусть плохое, сердце, а не превосходной конструкции насос из мастерской; а в языке это — тем более так. И если озорники-футуристы прищипривают сердце вином, то против этого можно возражать, но в этом нет ничего бесповоротного; степенному же и честному Линцбаху, забывающему, что сердце дорого мне не только разумным своим устройством, но и неразумным фактом принадлежности его именно м н е, — помимо всяких возражений приходится дать грубый отпор. Попытки футуристов и Линцбаха текут по противоположным скатам.

Футуристы, любя в языке свою кровную связь с ним, ищут еще более тесной близости; язык естествен, но, по ним, уже недостаточно естествен, и требуется совлечь с него в с е наслоения искусственности, условности и произвола; тогда будет непрестанное зачатие словесное, — надеются они, — забывая, что мертвая шелуха языка — не от языка зависит, а от мертвенности духа, в речи себя являющего. Напротив, Линцбах языка просто не любит, своей связи с ним не ощущает, живет в нем, не как в своем теле, а как в наемном номере гостиницы, и потому, естественно, озабочен наиболее рациональной обмелировкой этого номера. Самая мысль об органическом в языке чужда ему: он все признает сделанным, а не — рожденным, и язык отсюда не исключается. Линцбаху не дорог язык, а дороги услуги языка; но языку, исторически существующему, не свойственна точность и однообразность действий механизма; следовательно, — рассуждает конструктор «философского языка», — следовательно, этот скверный кустарный механизм подлежит уничтожению и замене и н ы м, по зрело выверенному проекту. Таким проектом и предназначено быть обсуждаемой книге.

XIX. Действительно, эта книга есть зрелый плод долговременной работы ее автора, — «результат всей сознательной половины его жизни — около четверти столетия» [8, с. XII]. Исследуемые здесь предметы неоднократно пересмотрены, так что изложение содержательно в каждой своей строке и образует сплав плотный и твердый, — полную противоположность наскоро по самому существу дела, симпровизированному футуризму. И насколько футуризм — имею в виду кубо-футуристов — ярко показателен для русской мысли, настолько же исследование Линцбаха — словно из другого мира: это, — конечно, — характерный образчик французской мысли, и притом не современной, а мысли XVIII века. Как и «идеологам» XVIII века, Линцбаху чужда мысль об органическом развитии: есть лишь идея прогресса, движимого рациональными проектами. Самая идея организма подменена у него, как и у мыслителей XVIII века, представлением о механизме. Все условно, существует не по природной необходимости вещей, но по какому-то общественному соглашению. Но соглашение это, хотя и произвольное, неудачно, ибо мало рационально: как и французы XVIII века, Линцбах всем недоволен, ему все хотелось бы переделать, переставить, подстричь, со всем расправиться по-свойски. Себе не веришь, читая эту книгу: как могло случиться, что после эволюционизма и историзма, после экономического материализма, после философии воли и бессознательного, могла возникнуть такая несвоевременная выдумка, как «философский язык» Линцбаха. Но нам-то — он находка. Постараемся же, возможно кратко, обозреть эту книгу.

XX. Автор ее исходит из предпосылки, считаемой им за самоочевидную, хотя языковедам она представляется доселе нерешенной и, быть может, по существу нерешимой, — а именно, что предки наши «изобрели существующие языки» [8, с. V], что язык искусствен — и даже более всех других искусств. С этой предпосылки он начинает; она же подразумевается на каждой странице его труда. Правда, далее в последнем из параграфов своей книги, он несколько смягчает эту предпосылку; из животного происхождения человека, — в каковое г. Линдбах верит без какой-либо критики, — следует, что и зачатки языка и разума всегда были у живых организмов и что, следовательно, самый вопрос, как человек мог «приобрести язык и разум, упраздняется вовсе. Вопрос этот сводится здесь к вопросу не о п р и о б р е т е н и и языка и разума, а лишь об у с о в е р ш е н с т в о в а н и и их» [8, с. 213]. Это ограничение, сделанное после того, как написана целая книга, по меньшей мере бесполезно. Но оно, кроме того, противоречит духу и букве книги, ибо тут непрерывно твердится о языке, как об у с л о в н о й системе знаков, одной из многих, ждущих своих изобретателей. Можно не говорить о предвечном бытии того, что принимается по условию, по соглашению? А если подобная речь все же велась бы, то не утверждалась ли бы ею тогда не условная, не произвольная основа языка? Однако, в самом исследовании своем Линдбах гораздо последовательнее, чем может показаться из приведенного места, и если говорит о нерациональной основе языков исторических, то с неизменной брезгливостью, как о соре, подлежащем уборке.

Существующие языки нерациональны: нерациональны, как возникшие полу-сознательно, а не сочиненные по продуманному плану; нерациональны и по самой связи их с нашим организмом, тоже нерациональным. И, прежде всего, таким источником несовершенств языка объявляется рот, бедный рот, неугодивший линдбаховскому вкусу ко всеобщему равнению. «При исследовании алфавита какого-нибудь языка нетрудно заметить, что различные категории звуков представлены здесь неодинаково. Система членораздельных звуков любого языка напоминает собою некоторую несовершенную систему мер, в которой основание счисления непостоянно и меняется без какого-либо разумного основания [не скромнее ли было бы добавить: «Мне известного». — П. Ф.]. Так, напр., из двух противоположаемых друг другу категорий звуков, — гласных и согласных, число первых обыкновенно значительно меньше, чем число вторых, зубных гласных больше, чем губных, и т. д. [Но почему, — спросим себя, — почему Линдбаху разумным распределением кажется лишь распределение по-ровну? Неужели его сведения о закономерностях не идут дальше прямой пропорциональности? — П. Ф.]. Сравнивая алфавиты различных языков, видим, что они неодинаковы. Звуки, употребляющиеся в одном языке, отсутствуют в другом, причем в одном языке преобладают одни звуки, а в другом — другие, и т. д. [Следовательно, заключил бы языковед, дух народа, выражающийся в их языках, различен: для выражения различного, потребовались народам и различные звуки. Рассуждение простое; но Линдбах думает об этом как-то иначе. — П. Ф.].

Такое неравномерное распределение звуков, неравномерное участие в процессе речи различных частей рта, неравномерное применение различных способов произношения и т. д., свидетельствует прежде всего о недостатках конструкции рта, как органа речи. [«Прежде всего», свидетельствует о стремлении г. Линдбаха ввести казенное равнение даже в рот, за неподчинение чему этот последний и объявляется неудачно скон-

струированным.— П. Ф.). Первоначально рот был создан не для речи, а для еды. [Откуда это известно? — П. Ф.]. К речи он приспособлен впоследствии, и здесь конструкция его не могла не вносить дисгармонии в строение речи. Очевидно, что от этого обстоятельства мы должны отвлекаться, если хотим прийти к идеальной конструкции речи. Последнюю мы должны мыслить и представить себе не как функцию человеческого рта, а как функцию некоторого специального прибора, свободного от тех недостатков, какими обладает рот.

К решению этой задачи мы должны подойти подобно ученому, который стремится понять явление в самом простом виде, и технику, который хочет приспособить его к своим целям, извлечь из него наибольшую пользу. Здесь нас должно интересовать только предельное решение вопроса, такое решение, которое было бы окончательным и дальше которого уже нельзя было бы идти. Одним словом, мы должны стремиться к наиболее простому и правильному решению проблем языка.

Имея дело с алфавитом, мы можем поступать по примеру садовника, который оперативным путем удаляет все ненужные ветки. Нам нужны простота, правильность и симметрия, а алфавит наш явно грешит против этих требований разума. Попробуем, поэтому, устранить из него эти недостатки, без жалости уничтожая все то, что нам мешает» [8, с. 31—32]. Но и после этого устранения остаются некоторые недостатки; они «зависят от недостатков членораздельной речи вообще, которая [...] не может быть вполне рациональной, ибо иррациональность произношения обусловлена иррациональностью конструкции рта, как органа речи. Но выражения наши будут отличаться большей стройностью, если мы воспользуемся каким-нибудь другим, технически более рациональным способом» [8, с. 162]. Тогда «в качестве оратора может выступить [...] такое простое механическое приспособление, как колокольня, оборудованная двумя колоколами различного тона или тембра» [8, с. 164]. Таковы замыслы Линдбаха. Вот он, просвещенный деспотизм, залезающий в чужой рот и предлагающий немедленно, под угрозой штрафа или казни заменить «язык таким простым приспособлением», как колокольня — только потому, что г-ну Линдбаху или иному его приятелю заблагорассудится свое непонимание выдать за окончательный принцип бытия. Если уж резать языки, то не всему человечеству, а реформаторам естества.

XXI. Поясним характер этого «оперативного устранения» звуков. «После удаления всех неправильно развитых отделов», у Линдбаха получился следующий сокращенный алфавит:

п	ф	т	с
о	а	й	и
б	в	д	з
о	ä	ö	е

соответствующий рациональной классификации:

Согласные								Гласные							
Губные				Нычные				Неязычные				Язычные			
Безголосные		Голосовые		Безголосные		Голосовые		Твердые		Мягкие		Твердые		Мягкие	
Моментальные	Длиительные	Моментальные	Длиительные	Моментальные	Длиительные	Моментальные	Длиительные	Губные	Зубные	Губные	Зубные	Губные	Зубные	Губные	Зубные
П	Ф	Б	В	Т	С	Д	З	О	А	О	А̃	Ӧ	И	Ӧ	Е

[8, с. 32—33].

Вы удивитесь, а где же другие, столь употребляемые звуки, и прежде — заднеязычные

к	х
у	ы
г	ь
о	э

Они удалены оперативным путем. Почему? — По мотиву более чем слабому: «если принять эти две группы [язычных. — П. Ф.], то пришлось бы, для сохранения симметрии\*, либо вовсе отказаться от употребления звуков, которые в нашей таблице отмечены, как неязычные, [...] либо принять еще одну новую группу, так называемых среднеязычных звуков:

ч	ш
(ӱу)	(ыи)
(дж)	ж
(Ӧӧ)	(эе)

Однако эта последняя группа имеет тот недостаток, что ей соответствуют такие гласные звуки [...], которые, хотя и могут быть произнесены, но которые до сих пор не приняты, по крайней мере в известных нам культурных языках. Поэтому нам остается здесь либо отказаться вовсе от этих добавочных звуков, либо научиться произносить еще некоторые совершенно новые звуки, непривычные для слуха» [8, с. 34—36]. Итак, только потому, что г. Линцбах не сумел внести симметрию в классификацию звуков, он запрещает самые звуки. До такого чудовищного насилия над жизнью во имя схем не доходил сам Марат. Но Линцбаху этого мало. Еще не попадают в его классификацию звуки:

«губные . . . . . м л,

переднеязычные . . . . . н р [и — П. Ф.]

заднеязычные . . . . . н р (картавые)» [8, с. 36].

\* Выделено П. Флоренским. — *Ред.*

Они тоже изгоняются, — за то, что у них нет соответствующих гласных форм и, будучи сами на границе гласности, лишены безголосной формы согласных, т. е. другими словами их не удастся рассадить по клумбочкам Линцбаха. Следовательно, они подлежат уничтожению. Но что же? — оказывается недостаточно послушной и та небольшая часть — всего шестнадцать — звуков, которые пощажены свирепым языковедом. «При попытках создать группу членораздельных звуков, которая удовлетворяла бы всем возможным требованиям идеальной классификации, мы неизбежно наталкиваемся на противоречия. И это потому, что членораздельные звуки, в таком виде, в каком они произносятся органом речи, не удовлетворяют требованиям рациональной техники. Конструкция их не такова, чтобы они могли составить систему, во всех отношениях стройную.

Гармония в данном случае нарушена присутствием наравне с согласными гласных звуков, ибо, отдельно взятые, эти 8 гласных и 8 согласных делаются вполне рационально [...]. Если мы хотим сохранить возможность устной речи, то должны мириться со сказанным недостатком. Но это не мешает нам, в принципе, все-таки, считать это только недостатком, которого не было бы, если бы орган речи имел другую, более совершенную конструкцию» [8, с. 34].

Но не проще было бы сознать просто н е г о д н о с т ь своих схем и классификаций, чем мечтать об удалении из речи гласных или согласных? Не рациональнее ли?

XXII. Таков дух деспотизма и насилия, определяющий книгу Линцбаха. Но теперь, дав пояснение о складе книги, постараемся по возможности очертить с положительной стороны связь ее мыслей.

Задача Линцбаха устанавливается его враждою к историческому. Если язык, в самом деле, рационально придумывается, то по ложному пути идет современное языкознание, собирающее и изучающее языки существующие, но не сочиняющее своих. Этой алхимии языка Линцбах думает противопоставить химию языка, — «точное языкознание» или, как он еще называет его «математическое языкознание». Последнее призвано не изучать готовые языки, но строить новый язык без словаря и грамматики: «ибо словарь и грамматику заменяют здесь правила математики. Этимологией является здесь геометрия, а синтаксисом — алгебра; причем буквы заменяются цифрами, имеющими особую математически обоснованную конструкцию» [8, с. VIII]. Этот новый язык обещает чрезвычайные преимущества. Выражения его «отличаются в общем такую же понятностью, какую отличаются рисунки [...]. Новый язык доступен каждому ребенку с первых дней [даже дней! — П. Ф.] его жизни и совершенно не нуждается в работе памяти, ибо он основан на свободном творчестве [по мнению автора; а на деле — на ряде совершенно произвольных соглашений, почему для него прежде всего требуется зубрежка. — П. Ф.]. Благодаря этому он понятен всем народам без какого-либо предварительного изучения его [для чего же написана тогда целая книга? — П. Ф.]» [8, с. VIII]. Основанные на непосредственном «улавливании образов» и обладая поэтому «значительно большею силою», «выражения нового языка будут значительно короче выражений обыкновенного языка. Там, где на обыкновенном языке оратору приходится говорить часами, достаточно на новом языке работы нескольких минут. То, что в случае обыкновенного языка составляет толстую книгу, на прочтение которой нужно потратить дни, может быть изложено здесь в виде тоненькой брошюры, содержание которой можно узнать в течение какого-нибудь часа» [8, с. IX]. Фантазия точного мыслителя разыгрывается. «Мысль, выражаемая здесь прежде всего в виде геометрии

ческого чертежа (представление) или алгебраической формулы (понятие), может быть представлена не только устно или письменно посредством условного алфавита, но и всеми другими способами, которые выработаны искусством. Она может быть представлена графически, в виде рисунка, пластически, в виде модели, сценически, в виде представления, протискающего во времени. Она может быть представлена также в виде музыкальной мелодии и в виде игры телодвижений, — некоторой пляски или ритмической гимнастики. Может быть представлена в виде игры красок, встречающейся на коврах, тканях и т. п. предметах украшения. Здесь возможны все вообще способы выражения, притом не только те, которые существуют в настоящее время, но и те, которые когда-либо существовали или будут еще изобретены [...]. Вообще, различным математическим образом будут соответствовать различные художественные образы, [...] причем одна математическая или художественная форма будет покрывать другую, так что формуле будет соответствовать чертеж, чертежу — рисунок, рисунку — поэма, поэме — мелодия, мелодии — пляска» [8, с. IX—X]. Вот мысль, верная в своем общем направлении, как конкретно пересказанный тезис о всеобщем соответствии, но насквозь фантастичная, коль скоро им утверждается нечто более определенное. Ведь всеобщее соответствие есть задача, задача высокого синтеза всех деятельности духа, ныне лишь частично определяющаяся, да и то при особой чуткости, но — отнюдь не что-либо готовое, на что можно сослаться. Есть перековки и взаимные отзвуки явлений и вещей; но постигнуть тут даже частности — дело углубленной мудрости и особых даров созерцания. Впрочем, Лянцбах не только не старается очертить эти взаимно-отражения природы, но даже не подозревает, что их надо именно открыть, а не произвольно сочинить. Он сам устанавливает соответствия, случайно и произвольно, не имея ни созерцательной чуткости, ни философского метода, — устанавливает, можно сказать, административно, и вдобавок подчеркивает свой произвол, предлагая соответствие такое, а то и другое, и третье. Ясное дело: так не получится не только символических перековок жизни, но, хуже того, образуется огромная система оккультной лжи, и если бы она, несмотря ни на что, все же была бы проведена в общественную жизнь, то стала бы источником величайшего оккультного бедствия и вводила бы общество в противоестественные, уродливые и губительные тиски.

Но автор, не исследовав вопросов ни оккультизма, ни наследственности, и вообще биологии, ни других сторон антропологии, берет на себя смелость заверить нас в противном. «...Быть ученым будет означать здесь [т. е. при пользовании его языком. — П. Ф.] в то же время быть и художником, и быть художником будет означать быть им зараз во всех областях искусства. Но мало того. Быть человеком значит вообще быть существом говорящим. Поэтому, быть говорящим на философском языке значит не просто быть человеком, а быть философом, — существом, стоящим в силу самого обладания новым, более совершенным языком на некоторой высшей ступени развития. А это, в свою очередь, равносильно переходу в новое сверхчеловеческое состояние, ибо новые существа, вооруженные с первых дней своей жизни всеми знаниями и искусствами, будут стоять здесь настолько же выше обыкновенных людей, насколько эти последние, обладая обыкновенным языком, стоят выше животных [...]. Философский язык, как язык идеальный, представляет собою нечто небывалое, нечто в буквальном смысле слова чудесное ...» [8, с. X]. И то же, в более подробном развитии, составляет предмет последней главы, «Об идеальной культуре».

XXIII. Таковы радужные мечты г. Лянцбаха; ему, впрочем, они не

кажутся мечтами, ибо свой язык он считает уже существующим. В семи последовательных главах — об идеальном письме, об идеальном языке, об идеальных представлениях, об идеальных понятиях, об идеальных знаках, об идеальных выражениях и об идеальной культуре — он делает попытку показать, как от языка русского можно перейти к языку философскому; переход этот посредствуется семью же, соответствующими главам, принципами, извлекаемыми из деятельности разума в языке и науке, точнее — физико-математической науке. Принцип сокращения, принцип упрощения, принцип непрерывности, принцип прерывности, принцип упорядочивания, принцип приспособления, принцип достижения — таковы семь ступеней, возводящих к философскому языку. Так — по декларации автора.

На самом же деле это — семь наслоений мысли г. Линцбаха, во многом весьма значительные и ценные порознь, но явно разновременные, и разнохарактерные; о единстве их, а потому — и единстве философского языка, можно говорить лишь очень условно и приблизительно. Правильнее же всего было бы рассматривать их как различные, и в весьма различной степени приемлемые, попытки подойти к усовершенствованию той или другой самозамкнутой области, входящей в общую сферу языка.

Итак, что же разумеется в книге под я з ы к о м? Понятие о языке далеко не покрывается понятием о членораздельной речи, ибо сюда входит еще речь письменная, язык мимики, язык жестов, язык рисунка, язык красок и музыкальных тонов, язык природы, язык фактов и т. п. Но наиболее зафиксированной формой языка является язык письменный и язык рисунка. От них-то исходит Линцбах. Читая книгу, рассуждает он, мы как бы присутствуем при кинематографическом представлении: чтобы прочитать страницу, нужно известное в р е м я, в котором развертывается образ последовательно. Рисунок же, относясь к единому мгновению, может быть узнан одним актом [?— П. Ф.]. Поэтому рисунок относится к тексту так, как некоторая единица относится к некоторому множеству. В процессе быстрого чтения текст распадается на единицы смысла, охватывающие собою некоторое число букв, узнаваемых сразу. Так устанавливается понятие о моменте времени — минимальном времени, требующемся для узнания некоторой объединенной, сложной ли, или простой, безразлично, группы черточек, будь то точки, штрихи или целый рисунок.

Чем же объясняется существование такой единицы времени, равной приблизительно  $1/7$  секунды?— Физическими условиями, в которых работает глаз: впечатления более частые, нежели 7 в секунду, не могут быть различаемы, ибо сливаются. Прежде чем глаз освободится от некоторого образа, должна пройти  $1/7$  секунды, а до тех пор он занят, следовательно, в одну секунду нельзя внимательно прочитать более 7-ми слов; когда же мы читаем быстрее, мы пропускаем часть слов ( $2/5$ ), с о к р а щ а я текст, но норма чтения, т. е. 7 слов в секунду, остается ненарушенной. Это число — 7 на 1 секунду — оказывается общим различным сторонам человеческой деятельности; в секунду: рот не может выговорить более 7 слов, рука не может сделать более 7 движений, а потому написать более 7 черточек, определяемых единичным нажимом, независимо от их размера, и вида и т. д., что определяется опять-таки физическими условиями деятельности органов. Иными словами, разные способы выражения находятся в гармонии, ибо все деятельности и восприятия могут протекать с одинаковою предельною скоростью, по 7-ми элементов в 1 секунду.

На этот факт опирается теория философского языка, пытающаяся придумать и способы выражения равно-скорые. В существующих же культур-

ных формах жизни именно упомянутый выше факт ведет к дисгармонии. В самом деле: слово содержит в среднем  $2\frac{1}{2}$  слога, кроме того на слово приходится, в среднем  $1\frac{1}{2}$  паузы (одна — разделяющая слово от слова, в конце слова, и  $1/2$ , в среднем, на знак препинания). Следовательно, мы произносим, в среднем  $7 \times 1\frac{1}{2} : 2\frac{1}{2} = 4\frac{1}{3}$  слога в секунду. Медленно говорящий оратор выговаривает 60 слов в минуту, умеренно говорящий — более 150 слов, спешащий — до 250 слов, скороговоркой говорящий, еще более. Но: на 1 слог приходится около  $2\frac{1}{2}$  буквы, на букву около  $2\frac{1}{2}$  нажимов, и следовательно, если средней руки оратор произносит 100 слов в минуту, то средней руки писец может записать за ним только 15 слов, т. е. письменная речь в 6—7 раз медленнее устной. Соответствия между ними н е т.

Тогда применяется принцип сокращения: индивидуальный почерк, пропуск гласных, опускание концов слов, условные обозначения слов и оборотов, недословная запись речи. Каждый из этих приемов позволяет сократить работу не более чем на 40%, в среднем на  $2/5$ , и целое после этих 5-ти приемов стенографии о с т а е т с я узнаваемым. Таким способом письменная речь может казаться догоняющей устную; но стенография н е дает подлинного решения нашего вопроса, ибо н е т здесь соответствия элементов одной элементам другой и, кроме того, наверстываемое в скорости пишущим перекладывается на читающего стенограмму. Очевидно, к вопросу о письме надо подойти иначе.

XXIV. Линцбах указывает, что преимущество речи устной перед речью письменной — в с о т р у д н и ч е с т в е многих органов рта и гортани и в обременности работою, при письме, одного только органа — в сущности одного пальца. Посему, и письменная речь могла бы не отставать от устной, если бы было придумано многопальное письмо, причем каждый палец делал бы в единицу времени один лишь нажим. Устанавливая соответствие 10-ти пальцев 10-ти же характерным признакам букв (нос, губы, зубы, щеки, язык, гласные, твердые, моментальные, передние, задние), Линцбах придумывает алфавит, который, если бы построить особую машину, в роде пишущих, типа ремингтона и т. п., можно было бы в точности поспевать за любым оратором <sup>24</sup>.

Те и другие — творцы языка заумного и сочинители языка философского — что-то очень уж торопятся куда-то; все-то им некогда, все-то им надо ускорить речь, сэкономить драгоценное время, ехать на экспрессе. Эх, товарищи, мы живем на Руси и знаем все конституцию: «Дело не медведь, в лес не убежит». Куда это торопитесь вы, словно предстоит вам наговорить на тысячу томов, а если бы и впрямь предстояли эти тысячи томов, то, смотрите, в доброе старое время, без всяких тороплений и изобретенных языков успел же старый греховодник Вольтер наблудить языком 70 \* томов. И вы поспеете. Только правда ли, что у вас такой неиссякаемый запас мысли, что его не выговоришь русским языком? Одни из вас решают задачу языка-экспресса так, другие — иначе. Но вот замечательно: торопиться-то вы торопитесь, а сказать вам (будем по-демократически, по-товарищески) ... кажется, нечего. Вы торопитесь сказать о своей торопливости — и сидите на месте, — куда спокойнее, чем со словарем Даля и грамматикой Кирпичникова ... точь-в-точь русское торопливое прощание с двухча-

<sup>24</sup> См. 1-ю главу книги Я. Линцбаха: «Об идеальном письме. Принцип сокращения».

\* В тексте пропуск. Количество томов в полных собраниях сочинений Вольтера выяснено по Краткой литературной энциклопедии. — *Ред.*

совым разговором в передней. Ну, туда-сюда товарищи бюджетяне. Цеди свои баячи, они могут отвести упреки ссылкой на непонятность свою, они ведь сохранили все права на вечную непонятность свою. Но, товарищу папа-ту-фу, вы-то ведь распинаетесь за практичность своего языка, вы-то ведь рациональны насковозь. Что же сказали вы? Пока что от вас мы слышали только рассказ — для годовалого дитяти — о том, как жили-были два охотника, как поехали они на охоту, как напали на них страшные волки, и приехали охотники в город, напились там чаю и залегли спать. Надо же было вам, на грех, столько твердить о своей занятости, чтобы потом, на протяжении целой книги, на все лады повторять эту историйку об охотниках и для нее специально сочинить особый язык... Для нее, говорю, ибо сочиненный вами язык, только для нее и придуман, и хотелось бы мне видеть, как примените вы его, рассказывая другую подобную историю о бабушке и ее сером козлике или о непослушном мальчишке, попавшем в темный угол. На более сложные повести я не притязую, жалеючи вас. Каждому простейшему рассказу придется посвятить по книге. Спешите, спешите вы, — а сразу видно, что делать вам нечего, вот вы и тешитесь переливанием из пустого в порожнее рассказчика об охотниках посредством «фафефу». И сообщить вам тоже нечего: сообщили бы, на самом обычном языке, что-нибудь более занятное, коли было бы что.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Victor Henry. Antinomies linguistiques.* Paris, 1896.
2. *В. фон Гумбольдт.* О различиях организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859.
3. *Д. Дарский.* «Радость земли». Исследование лирики Фета. М., изд. К. Ф. Некрасова, 1916.
4. *Василий Каменский.* Его-Моя биография Великого футуриста. Книгоиздательство «Китоврас», М. 1918.
5. *А. Кручинин, В. Хлебников.* Слово как таковое. М., 1913.
6. *Г. Гастевен.* Футуризм. (На пути к новому символизму). С приложением перевода главных футуристических манифестов Ф. Маринетты. М. 1914.
7. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», книга 22, СПб. 1914.
8. *Я. Линцбах.* Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. Петроград 1916.
9. *А. Г. Горнфельд.* Муки слова. (Сборник журнала «Русское Богатство», под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. СПб. 1899. с. 73—110).
10. *Д. Овсянко-Куликовский.* К психологии понимания. (Сборник «Помощь пострадавшим от неурожая Самарской губернии», издание О. Р. Васильевой. М. 1900).
11. *Ф. Батюшков.* В борьбе со словом. (Журнал Министерства народного просвещения, СПб. 1900, февраль, с. 209—228).
12. *К. Бальмонт.* Поэзия как волшебство. М. 1915.
13. *В. Ветгем.* Современное развитие физики. Изд. 2-е, «Mathesis», «Одесса 1912.
14. *Иван Грузинов.* Бубны боли. Стихи. М. 1915.
15. *Святогор.* Стихоты о вертикали. М. 1914.
16. Стрелец. Сборник первый. Под ред. *А. Беленсона.* Петербург 1915.
17. *Д. Крючков.* Цветы ледяные. Вторая книга стихов. Изд-во «Очарованный странник», СПб. 1913.
18. «Фета». Первый сборник. М. 1916.
19. «Очарованный странник». Альманах осенний. СПб. 1914.
20. Сборники по теории поэтического языка. Выпуск первый. Петроград 1916.